



**О.Генри**  
**КОРОЛИ И КАПУСТА**

**О. Генри**

*Новеллы О.Генри (настоящее имя Уильям Сидней Портер, 1862-1910) на протяжении вот уже ста лет привлекают читателя добрым юмором, оптимизмом, любовью к «маленькому американцу», вызывая интерес и сочувствие к жизненным перипетиям клерков, продавщиц, бродяг, безвестных художников, поэтов, актрис, ковбоев, мелких авантюристов, фермеров.*

*Ярким примером оригинального стиля О.Генри является повесть «Короли и капуста» (1904), состоящая из авантюрно-юмористических новелл, действие которых происходит в Латинской Америке, но вместо королей у него президенты, а вместо капусты — пальмы.*

## От переводчика

Морж и Плотник гуляли по берегу. У берега они увидели устриц. Им захотелось полакомиться, но устрицы зарылись в песок и глубоко сидели в воде. Морж, чтобы выманить их из засады, предложил им пойти прогуляться.

— Приятная прогулка! Приятный разговор! — соблазнял он простодушных устриц.

Те поверили и побежали за ним, как цыплята.

— Давайте же начнем! — сказал Морж, усаживаясь на прибрежном камне. — Пришло время потолковать о многих вещах; башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о капусте и о королях.

Но, несмотря на такую большую программу, рассказ Морж оказался очень коротким — скоро слушатели все до одного были съедены.

Эту печальную балладу знают решительно все англичане, так как она напечатана в их любимейшей детской книге «Сквозь зеркало», которую они читают с раннего детства до старости. Сочинил ее Льюис Кэрролл, автор «Алисы в волшебной стране». Книга «Сквозь зеркало» есть продолжение «Алисы».

Повторяем: Морж ничего не сказал ни о башмаках, ни о кораблях, ни о сургучных печатях, ни о королях, ни о капусте. Вместе него сделал это О. Генри. Он так и озаглавил эту книгу — «Короли и капуста», и принял все меры к тому, чтобы «выполнить обещания» Моржа. В ней есть глава «Корабли» есть глава «Башмаки» в ней уже во второй главе, фигурирует сургуч, и если чего в ней нет, так только королей и капусты. Не потому ли именно эти слова поставлены в заглавии книги? Но автор утешает нас тем, что вместо королей у него президенты, а вместо капусты — пальмы.

Сам же он — Плотник, меланхолический спутник Моржа, и свою присказку ведет от лица Плотника.

## Присказка плотника

Вам скажут в Анчурии, что глава этой утлой республики, президент Мирафлорес, погиб от своей собственной руки в прибрежном городишке Коралио; что именно сюда он убежал, спасаясь от невзгод революции, и что казенные Деньги, сто тысяч долларов, которые увез он с собой в кожаном американском саквояже на память о бурной эпохе своего президентства, так и не были найдены во веки веков.

За один реал любой мальчишка покажет вам могилу президента. Эта могила — на окраине города, у небольшого мостика над болотом, заросшим манговыми деревьями. На могиле, в головах, простая деревянная колода. На ней кто-то выжег каленым железом:

*РАМОН АНХЕЛЬ-ДЕ ЛАС КРУСЕС  
И МИРАФЛОРЕС  
ПРЕЗИДЕНТЕ ДЕ ЛА РЕПУБЛИКА  
ДЕ АНЧУРИА  
Да будет ему судьей господь!*

В надписи сказался характер этих легких духом и незлобивых людей: они не преследуют того, кто в могиле. «Да будет ему судьей господь!» Даже потеряв сто тысяч долларов, о которых они все еще продолжают вздыхать, они не питают вражды к похитителю.

Незнакомцу или заезжему человеку жители Коралио расскажут о трагической кончине своего бывшего президента. Они расскажут, как он пытался убежать из их республики с казенными деньгами и донной Изабеллой Гилберт, молодой американской певичкой; как, пойманный в Коралио членами оппозиционной политической партии, он предпочел застрелиться, лишь бы не расстаться с деньгами и сеньоритою Гилберт. Дальше они расскажут, как донна Изабелла, почувствовав, что ее предприимчивый челнок на мели, что ей не вернуть ни знатного любовника, ни сувенира в сто тысяч, бросила якорь в этих стоячих прибрежных водах, ожидая нового прилива.

Еще вам расскажут в Коралио, что скоро ее подхватило благоприятное и быстрое течение в лице американца Франка Гудвина, давнего жителя этого города, негодяя, создавшего себе состояние на экспорте местных товаров. Это был банановый король, каучуковый принц, герцог кубовой краски и красного дерева, барон тропических лекарственных трав. Вам расскажут, что сеньорита Гилберт вышла замуж за сеньора Гудвина через месяц после смерти президента и, таким образом, в тот самый момент, когда Фортуна перестала улыбаться, отвоевала у нее, вместо отнятых этой богиней даров, новые, еще более ценные.

Об американце Франке Гудвине и его жене здешние жители могут сказать только хорошее. Дон Франк жил среди них много лет и добился большого почета. Его жена стала — без всяких усилий — царицей великосветского общества, поскольку таковое имеется на этих непритязательных берегах. Сама губернаторша, происходящая из гордой кастильской фамилии Монтелеон-и-До-лороса-де-лос-Сантос-и-Мендес, и та считает за честь развернуть салфетку своей оливковой ручкой, украшенной кольцами, за столом у сеньоры Гудвин. Если в вас еще живут суеверия Севера и вы попытаетесь намекнуть на то недавнее прошлое, когда миссис Гудвин была опереточной дивой и своей бестрепетно бойкой манерой увлекла немолодого президента, если вы заговорите о той роли, которую она сыграла в прегрешениях и гибели этого сановника, — жители Коралио, как истые латиняне, только пожмут плечами, и это будет их единственный ответ. Если у них и существует предвзятое мнение в отношении сеньоры Гудвин, это мнение целиком в ее пользу, каково бы оно ни было в прошлом.

Казалось бы, здесь не начало, а конец моей повести. Трагедия кончена. Романтическая история дошла до своего апогея, и больше уже не о чем рассказывать. Но читателю, который еще не насытил своего любопытства, покажется, пожалуй, поучительным всмотреться поближе в те нити, которые являются основой замысловатой ткани всего происшедшего.

Колоду, на которой начертано имя президента Мирафлореса, ежедневно трут песком и корою мыльного дерева. Старик метис преданно ухаживает за этой могилой со всею тщательностью прирожденного лодыря. Широким испанским ножом он выпалывает сорные растения и пышную, сочную траву. Своими зарубелыми

пальцами он выковыривает муравьев, скорпионов, жуков; ежедневно он ходит за водою на площадь к городскому фонтану, чтобы окропить дерн на могиле. Нигде во всем городе ни за одной могилой не ухаживают так, как за этой.

Только высмотрев тайные нити, вы уясните себе, почему этот старый индеец Гальвес получает по секрету жалованье за свою нехитрую работу, и почему это жалованье платит Гальвесу такая особа, которая и в глаза не видала президента, ни живого, ни мертвого, и почему, чуть наступают сумерки, эта особа так часто приходит сюда и бросает издали печальные и нежные взгляды на бесславную насыпь.

О стремительной карьере Изабеллы Гилберт вы можете узнать не в Коралио, а где-нибудь на стороне. Новый Орлеан дал ей жизнь и ту смешанную испано-французскую кровь, которая внесла в ее душу столько огня и тревоги. Образования она почти не получила, но выучилась каким-то инстинктом оценивать мужчин и те пружины, которые управляют их действиями. Необыкновенная страсть к приключениям, к опасностям и наслаждениям жизни была свойственна ей в большей мере, чем обычным, заурядным женщинам. Ее душа могла порвать любые цепи; она была Евой, уже отведавшей запретного плода, но еще не ощутившей его горечи. Она несла свою жизнь, как розу у себя на груди.

Из всех бесчисленных мужчин, которые толпились у ее ног, она, говорят, снизошла лишь к одному. Президенту Мирафлоресу, блестящему, но беспокойному правителю Анчурийской республики, отдала она ключ от своего гордого сердца. Как же это так могло случиться, что она, если верить туземцам, стала супругой Франка Гудвина и зажила без всякого дела дремотною, тусклою жизнью?

Далеко простираются тайные нити — через море, к иным берегам. Если мы последуем за ними, мы узнаем, почему сыщик О'Дэй, по прозванию Коротыш, служивший в Колумбийском агентстве, потерял свое место. А чтобы время прошло веселее, мы сочтем своим долгом и приятной забавой прогуляться вместе с Момусом<sup>[1]</sup> под звездами тропиков, где некогда, печально суровая, гордо выступала Мельпомена<sup>[2]</sup>. Смеяться так, чтобы проснулось эхо в этих роскошных джунглях — и хмурых утесах, где прежде слышались крики людей, на которых нападают пираты, отшвырнуть от себя копье и тесак и кинуться на арену, вооружившись насмешкой и радостью; из

заржавленного шлема романтической сказки извлекать благодатную улыбку веселья — сладостно заниматься такими делами под сенью лимонных деревьев, на этом морском берегу, похожем на губы, которые вот-вот засмеются.

Ибо живы еще предания о прославленных «Испанских морях». Этот кусок земли, омываемый бушующим Караибским морем и выславший навстречу ему свои страшные тропические джунгли, над которыми высится заносчивый хребет Кордильер, и теперь еще полон тайн и романтики. В былые годы повстанцы и морские разбойники будили отклики среди этих скал, на побережье, работая мечами и кремневыми ружьями в зеленых прохладах и снабжая обильной пищей вечно кружащихся над ними кондоров. Эти триста миль береговой полосы, столь знаменитой в истории, так часто переходили из рук в руки, то к морским бродягам, то к неожиданно восставшим мятежникам, что едва ли они знали хоть раз за все эти сотни лет, кого называть своим законным владыкой, Пизарро, Бальбоа, сэр Фрэнсис Дрэйк и Боливар<sup>[3]</sup> сделали все, что могли, чтобы приобщить их к христианскому миру. Сэр Джон Морган, Лафит<sup>[4]</sup> и другие знаменитые хвастуны и громилы терзали их и засыпали их ядрами во имя сатаны Аваддона.

То же происходит и сейчас. Правда, пушки бродяг замолчали, но разбойник-фотограф (специалист по увеличению портретов), но щелкающий кодаком турист и передовые отряды благовоспитанной шайки факиров вновь открыли эту страну и продолжают ту же работу. Торгаши из Германии, Сицилии, Франции выуживают отсюда монету и набивают ею свои кошельки. Знатные проходимцы толпятся в прихожих здешних повелителей с проектами железных дорог и концессий. Крошечные опереточные народы забавляются игрою в правительства, покуда в один прекрасный день в их водах не появляется молчаливый военный корабль и говорит им: не ломайте игрушек! И вслед за другими приходит веселый человек, искатель счастья, с пустыми карманами, которые он жаждет наполнить, пронырливый, смысленый делец — современный сказочный принц, несущий с собою будильник, который лучше всяких поцелуев разбудит эти прекрасные тропики от тысячелетнего сна. Обычно он привозит с собою трилистник<sup>[5]</sup> и кичливо водружает его рядом с экзотическими



пальмами. Он-то и выгнал из этих мест Мельпомену и заставил Комедию плясать при свете рампы Южного Креста.

Так что, видите, нам есть о чем рассказать. Пожалуй, неразборчивому уху Моржа эта повесть полюбится больше всего, потому что в ней и вправду есть и корабли и башмаки, и сургуч, и капустные пальмы, и (взамен королей) президенты.

Прибавьте к этому щепотку любви и заговоров, посыпьте это горстью тропических долларов, согретых не только пылающим солнцем, но и жаркими ладонями искателей счастья, и вам покажете, что перед вами сама жизнь — столь многословная, что и болтливейший из Моржей утомится.

## I. «Лиса-на-рассвете»

Коралио нежился в полуденном зное, как томная красавица в сурово хранимом гареме. Город лежал у самого моря на полоске наносной земли. Он казался брильянтиком, вкрапленным в ярко-зеленую ленту. Позади, как бы даже нависая над ним, вставала — совсем близко — стена Кордильер. Впереди расстилалось море, улыбающийся тюремщик, еще более неподкупный, чем хмурые горы. Волны шелестели вдоль гладкого берега, попугаи кричали в апельсиновых и чибовых деревьях, пальмы склоняли свои гибкие кроны, как неуклюжий кордебалет перед самым выходом прима-балерины.

Внезапно город закипел и взволновался. Мальчишка-туземец пробежал по заросшей травой улице, крича во все горло: «Busca el Senor Гудвин! Ha venido un telegrafo por el!»<sup>[6]</sup>

Весь город услышал этот крик. Телеграммы не часто приходят в Коралио. Десятки голосов с готовностью подхватили воззвание мальчишки. Главная улица, параллельная берегу, быстро переполнилась народом. Каждый предлагал свои услуги по доставке этой телеграммы. Женщины с самыми разноцветными лицами, начиная от светло-оливковых и кончая темно-коричневыми, кучками собрались на углах и запели мелодично и жалобно:

«Un telegrafo para Senor Гудвин!» Comandante дон сеньор Эль Коронель Энкарнасион Риос, который был сторонником правящей партии и подозревал, что Гудвин на стороне оппозиции, с присвистом воскликнул: «Эге!» — и записал в свою секретную записную книжку изобличающую новость, что сеньор Гудвин такого-то числа получил телеграмму.

Кутерьма была в полном разгаре, когда в дверях небольшой деревянной постройки появился некий человек и выглянул на улицу. Над дверью была вывеска с надписью: «Кью и Клэнсй»; такое наименование едва ли возникло на этой тропической почве. Человек, стоявший в дверях, был Билли Кью, искатель счастья и борец за прогресс, новейший пират Караибского моря. Цинкография и фотография — вот оружие, которым Кью и Клэнси осаждали в то

время эти неподатливые берега. Снаружи у дверей были выставлены две большие рамы, наполненные образцами их искусства.

Кью стоял на пороге, опершись спиной о косяк. Его веселое, смелое лицо выражало явный интерес к необычному оживлению и шуму на улице. Когда он понял, в чем дело, он приложил руку ко рту и крикнул: «Эй! Франк!» — таким зычным голосом, что все крики туземцев были заглушены и умолкли.

В пятидесяти шагах отсюда, на той стороне улицы, что поближе к морю, стояло обиталище консула Соединенных Штатов. Из этого-то дома вывалился Гудвин, услышав громогласный призыв. Все это время он курил трубку вместе с Уиллардом Джедди, консулом Соединенных Штатов, на задней веранде консульства, которая считалась прохладнейшим местом в городе.

— Скорее! — крикнул Кью. — В городе и так уж восстание из-за телеграммы, которая пришла на ваше имя. Не шутите такими вещами, мой милый. Надо же считаться с народными чувствами. В один прекрасный день вы получите надушенную фиалками розовую записочку, а в стране из-за этого произойдет революция.

Гудвин зашагал по улице и разыскал мальчишку с телеграммой. Волоокие женщины взирали на него с боязливым восторгом, ибо он был из той породы, которая для женщин притягательна. Высокого роста, блондин, в элегантном белоснежном костюме, в *zaratos*<sup>[7]</sup> из оленьей кожи. Он был чрезвычайно учтив; его учтивость внушала бы страх, если бы ее не умеряла сострадательная улыбка. Когда телеграмма была, наконец, вручена ему, а мальчишка, получив свою мзду, удалился, толпа с облегчением вернулась под прикрытие благодетельной тени, откуда выгнало ее любопытство: женщины — к своей стряпне на глиняных печурках, устроенных под апельсиновыми деревьями, или к бесконечному расчесыванию длинных и гладких волос, мужчины — к своим папиросам и разговорам за бутылкой вина в кабачках.

Гудвин присел на ступеньку около Кью и прочитал телеграмму. Она была от Боба Энглхарта, американца, который жил в Сан-Матео, столице Анчурии, в восьмидесяти милях от берега. Энглхарт был золотоискатель, пылкий революционер и вообще славный малый. То, что он был человеком находчивым и обладал большим воображением, доказывала телеграмма, которую получил от него Гудвин. Телеграмма

была строго конфиденциального свойства, и потому ее нельзя было писать ни по-английски, ни по-испански, ибо политическое око в Анчурии не дремлет. Сторонники и враги правительства ревностно следили друг за другом. Но Энглхарт был дипломатом. Существовал один-единственный код, к которому можно было прибегнуть с уверенностью, что его не поймут посторонние. Это могучий и великий код уличного простонародного нью-йоркского жаргона. Так что, сколько ни ломали себе голову над этим посланием чиновники почтово-телеграфного ведомства, телеграмма дошла до Гудвина никем не разобранная. Вот ее текст:

«Его пустозвонство юркнул по заячьей дороге со всей монетой в кисете и пучком кисеи, от которого он без ума. Куча стала поменьше на пятерку нолей. Наша банда процветает, но без кругляшек туго. Сгребите их за шиворот. Главный вместе с кисейным товаром держит курс на соль. Вы знаете, что делать, Боб».

Для Гудвина эта нескладица не представила никаких затруднений. Он был самый удачливый из всего американского авангарда искателей счастья, проникших в Анчурию, и, не будь у него способности предвидеть события и делать выводы, он едва ли достиг бы столь завидного богатства и почета. Политическая интрига была для него коммерческим делом. Благодаря своему большому уму он оказывал влияние на главарей-заговорщиков; благодаря своим деньгам он держал в руках мелкоту — второстепенных чиновников. В стране всегда существовала революционная партия, и Гудвин всегда готов был служить ей, ибо после всякой революции ее приверженцы получали большую награду. И теперь существовала либеральная партия, жаждавшая свергнуть президента Мирафлореса. Если колесо повернется удачно, Гудвин получит концессию на тридцать тысяч акров лучших кофейных плантаций внутри страны. Некоторые недавние поступки президента Мирафлореса навели его на мысль, что правительство падет еще раньше, чем произойдет очередная революция, и теперь телеграмма Энглхарта подтверждала его мудрые догадки.

Телеграмма, которую так и не разобрали анчурийские лингвисты, тщетно пытавшиеся приложить к ней свои знания испанского языка и начатков английского, сообщала Гудвину важные вести. Она уведомляла его, что президент республики убежал из столицы вместе с

вверенными ему казенными суммами; далее, что президента сопровождает в пути обольстительная Изабелла Гилберт, авантюристка, певица из оперной труппы, которую президент Мирафлорес вот уже целый месяц чествовал в своей столице так широко, что, будь актеры королями, они и то могли бы удовольствоваться меньшими почестями. Выражение «заячья дорога» означало вьючную тропу, по которой шел весь транспорт между столицей и Коралио. Сообщение о «куче», которая стала меньше на пятерку нолей, ясно указывало на печальное состояние национальных финансов. Также было до очевидности ясно, что партии, стремящейся к власти и не нуждающейся уже в вооруженном восстании, «придется очень туго без кругляшек». Если она не отнимет похищенных денег, то, приняв во внимание, сколько военной добычи придется раздать победителям, невеселое будет положение у новых властей. Поэтому было совершенно необходимо «сгрести главного за шиворот» и вернуть средства для войны и управления.

Гудвин передал депешу Кьюу.

— Прочитайте-ка, Билли. Это от Боба Энглхарта. Можете вы разобрать этот шифр?

Кьюу сел на пороге и начал внимательно читать телеграмму.

— Это совсем не шифр, — сказал он, наконец. — Это называется литературой, это некая языковая система, которую навязывают людям, хотя ни один беллетрист не познакомил их с нею. Выдумали ее журналы, но я не знал, что телеграфное ведомство приложило к ней печать своего одобрения. Теперь это уже не литература, а язык. Словари, как ни старались, не могли вывести его за пределы диалекта. Ну, а теперь, когда за ним стоит Западная Телеграфная, скоро возникнет целый народ, который будет говорить на нем.

— Все это филология. Билли, — сказал Гудвин. — А понимаете ли вы, что здесь написано?

— Еще бы! — ответил философ-практик. — Никакой язык не труден для человека, если он ему нужен. Я как-то ухитрился понять даже приказ улетучиться, произнесенный на классическом китайском языке и подтвержденный дулом мушкета. Это маленькое произведение изящной словесности называется «Лиса-на-рассвете». Играли вы в эту игру, когда были мальчишкой?

— Как будто, — ответил Франк со смехом. — Все берутся за руки и...

— Нет, нет, — перебил его Кьюу. — Я говорю вам про отличную боевую игру, а вы путаете ее с игрою «Вокруг куста». «Лиса-на-рассвете» не такая игра — за руки здесь не берутся, напротив! Играют так: этот президент и дама его сердца, они вскакивают в Сан-Матео и, приготовившись бежать, кричат: «Лиса-на-рассвете!» Мы с вами вскакиваем здесь и кричим: «Гусь и гусыня!» Они говорят: «Далеко ли до города Лондона?» Мы отвечаем:

«Близехонько, если у вас длинные ноги». И потом мы спрашиваем: «Сколько вас?» — и они отвечают: «Больше чем вы можете поймать!» И после этого игра начинается.

— В том-то и дело! — сказал Гудвин. — Нельзя, чтобы гусак и гусыня ускользнули у нас между пальцев: очень уж у них дорогие перья. Наша партия готова хоть сегодня взять на себя верховную власть; но если касса пуста, мы останемся у власти не дольше, чем белоручка на необъезженном мустанге. Мы должны играть в лисицу на всем берегу, чтобы не дать беглецам улизнуть...

— Если они едут на мулах, — сказал Кьюу, — они доберутся сюда — только на пятый день. Времени достаточно. Всюду, где можно, мы установим наблюдательные посты. Есть только три места на всем побережье, откуда они могут попасть на корабль: наш город, Солитас У Аласан. Там и нужно поставить стражу. Все это просто, как шахматная задача, — шах лисой и мат в три хода. Ах, гусыня и гусак, вот попали вы впросак! Милостью литературного телеграфа, сокровища нашего захолустного отечества попадают прямо в руки честной политической партии, которая только и мечтает, как бы перевернуть его вверх тормашками.

Кьюу был прав. Путь из столицы был долгий и тяжкий. Неприятности сыпались одна за другой: лютая стужа сменялась жестоким зноем, из безводной пустыни вы попадали в болото. Тропинка карабкалась по ужасающим высям, вилась, как полусгнившая веревочка, над захватывающими дыхание безднами, ныряла в ледяные, сбегаящие со снежных вершин ручьи и скользила, как змея, по лесам, куда не проникает луч солнца, среди опасных насекомых и зверей. Спустившись с гор, эта дорога превращалась в трезубец, причем средний зубец вел в Аласан, один из боковых — в

Коралио, другой — в Солитас. Между горами и морем лежала полоса наносной земли в пять миль шириной; здесь тропическая растительность приобретала особое богатство и разнообразие. Там и сям небольшие участки земли были отвоеваны у джунглей и на них разведены плантации сахарного тростника и бананов и апельсинные рощи. Вся же остальная земля являла буйство бешеной растительности, где жили обезьяны, тапиры, ягуары, аллигаторы, чудовищные насекомые и гады. Где не было просеки, там была такая чаща, что змея — и та с трудом протискивалась сквозь путаницу ветвей и лиан. По предательским трясинам, покрытым тропической зеленью, могли двигаться главным образом крылатые твари. Бежавший президент и его спутница могли добраться до берега лишь по одной из описанных трех дорог.

— Только, Билли, не болтать никому! — посоветовал Гудвин. — Незачем нашим врагам знать, что президент сбежал. Я думаю, что в столице это мало кому известно. Иначе Боб не прислал бы мне секретной телеграммы. Да и в нашем городе давно кричали бы об этом. Теперь я пойду к доктору Савалья, и мы пошлем нашего человека перерезать телеграфный провод.

Когда Гудвин поднялся, Кьюу швырнул свою шляпу в траву перед дверью и испустил потрясающий вздох.

— Что случилось. Билли? — спросил Гудвин, останавливаясь. — Первый раз в жизни я слышу, что вы вздыхаете.

— И последний, — сказал Кьюу. — Этим скорбным дуновением ветра я обрекаю себя на жизнь, преисполненную похвальной, хоть и очень нудной честности. Что такое, скажите на милость, фотография по сравнению с возможностями великого и веселого класса гусаков и гусынь? Не то чтобы мне хотелось стать президентом, Франк, — и с таким богатством, как у него, я все равно не совладал бы, — но как-то совесть мучает, что засел тут и снимаю эти физиономии, вместо того чтобы набить карманы и удрать. Франк, а видали вы этот «пучок кисеи», который его превосходительство свернул по швам и увез с собою?

— Изабеллу Гилберт? — спросил Гудвин смеясь. — Нет, не видел. Но слышал о ней много, и мне кажется, что справиться с нею будет не так то легко. Она пойдет напролом, будет драться и когтями и зубами.

Не обольщайте себя романтическими мечтами, Билли. Иногда я начинаю подозревать, не течет ли в ваших жилах ирландская кровь.

— Я тоже никогда не видал этой дамы, — продолжал Кьюу, — но говорят, что рядом с нею все красавицы, прославленные в поэзии, мифологии, скульптуре и живописи, кажутся дешевыми клише. Говорят, что стоит ей взглянуть на мужчину, и он тотчас же превращается в мартышку и лезет на самую высокую пальму, чтобы сорвать ей кокосовый орех. Счастье этому президенту, ей-богу! Вы только вообразите себе: в одной руке у него черт знает сколько сотен и тысяч долларов, в другой — эта кисейная сирена, он скачет сломя голову на близком его сердцу осле, кругом пение птиц и цветы. А я, Билли Кьюу, по причине своего великого благородства, должен корпеть в этой глупой дыре и, ради насущного хлеба, бессовестно коверкать физиономии этих животных лишь потому, что я не вор и не мошенник. Вот она, справедливость!

— Не горюйте! — сказал Гудвин. — Что это за лисица, которая завидует гусю? Кто знает, быть может, прелестная Гилберт почувствует влечение к вам и к вашей цинкографии после того, как мы отнимем у нее президента.

— Что будет совсем не глупо с ее стороны! — сказал Кьюу. — Но этому не бывать, она достойна украшать галерею богов, а не выставку цинкографических снимков. Она очень порочная женщина, а этому президенту просто повезло. Но я слышу, что там, за перегородкой, ругается Клэнси: ворчит, что я лодырничаяю, а он делает за меня всю работу.

Кьюу нырнул за кулисы своего ателье, и скоро оттуда донесся его неунывающий свист, который как будто сводил на нет его недавний вздох по поводу сомнительной удачи беглого президента.

Гудвин свернул с главной улицы в боковую, которая была гораздо уже и пересекала главную под прямым углом.

Эти боковые улицы были покрыты буйной травой, которую ревностно укрощали кривые ножи полицейских — для удобства пешего хождения. Узенькие каменные тротуары бежали вдоль невысоких и однообразных глинобитных домов. На окраинах эти улицы таяли, и там начинались крытые пальмовыми ветвями лачуги караибов и туземцев победнее, а также плюгавые хижинки ямайских и вест-индских негров. Несколько зданий возвышалось над красными



черепичными крышами одноэтажного города: башня тюрьмы, отель де лос Эстранхерос (гостиница для иностранцев), резиденция агента паровой компании «Везувий», торговый склад и дом богача Бернарда Брэнигэна, развалины собора, где некогда побывал Колумб, и самое пышное здание — Casa Mogena. летний «белый дом» президента Анчурии. На главной улице, параллельной берегу, — на коралийском Бродвее, — были самые большие магазины, почта, казармы, распивочные и базарная площадь.

Гудвин прошел мимо дома, принадлежащего Бернарду Брэнигэну. Это было новое деревянное здание в два этажа. В нижнем этаже помещался магазин, в верхнем, — обитал сам хозяин Длинный балкон, окружавший весь дом, был тщательно защищен от солнца. Красивая, бойкая девушка, изящно одетая в широкое струящееся белое платье, перегнулась через перила и улыбнулась Гудвину Она была не темнее лицом, чем многие аристократки Андалузии, она сверкала и переливалась искрами, как лунный свет в тропиках.

— Добрый вечер, мисс Паула. — сказал Гудвин, даря ее своей неизменной улыбкой. Он с одинаковой улыбкой приветствовал и женщин и мужчин Все в Коралио любили приветствия гиганта-американца.

— Что нового? — спросила мисс Паула. — Ради бога, не говорите мне, что у вас нет никаких новостей. Какая жара, не правда ли? Я чувствую себя, как Марианна в саду — или то было в аду?<sup>[8]</sup> Ах, так жарко!

— Нет, у меня нет никаких новостей, — сказал Гудвин, не без ехидства глядя на нее. — Вот только Джедди становится с каждым днем все ворчливее и раздражительнее. Если он в самом близком будущем не успокоится, я перестану курить у него на задней веранде, хотя во всем городе нет такого прохладного места.

— Он совсем не ворчит, — воскликнула порывисто Паула Брэнигэн, — когда он...

Но она не закончила и спряталась, внезапно покраснев, ибо ее мать была метиска и испанская кровь придавала ей прелестную пугливость, которая служила украшением другой — ирландской — половины ее непосредственной души.

## II. Лотос и бутылка

Уиллард Джедди, консул Соединенных Штатов в Коралио, сидел и лениво писал свой годовой отчет. Гудвин, который по обыкновению зашел к нему покурить на своей любимой прохладной веранде, не мог отвлечь его от этого занятия и удалился, жестоко браня приятеля за отсутствие гостеприимства.

— Я буду жаловаться на вас в министерство, — сердился Гудвин. — Даже разговаривать со мною не хочет. Даже виски не попотчует. Хорошо же вы представляете здесь ваше правительство.

Гудвин побрел в гостиницу наискосок в надежде уломать карантинного доктора сразиться на единственном в Коралио бильярде. Он уже сделал все, что было нужно для поимки убежавшего президента, и теперь ему оставалось одно: ждать, когда начнется игра.

Консул был весь поглощен своим годовым отчетом. Ему было только двадцать четыре года, и в Коралио он прибыл так недавно, что его служебный пыл еще не успел остыть в тропическом зное, — между Раком и Козерогом такие парадоксы допускаются.

Столько-то тысяч гроздьев бананов, столько-то тысяч апельсинов и кокосовых орехов, столько-то унций золотого песку, столько-то фунтов каучука, кофе, индиго, сарсапариллы — подумать только, что экспорт, по сравнению с прошлым годом, увеличился на двадцать процентов!

Сердце консула было преисполнено радости. Может быть, там, в государственном департаменте, прочтут его отчет и заметят... но тут он откинулся на спинку стула и засмеялся. Он становится таким же идиотом, как и все остальные. Неужели он мог забыть, что Коралио — ничтожный городишко ничтожной республики, ютящейся на задворках какого-то второстепенного моря? Ему вспомнился Грэгг, карантинный врач, выписывавший лондонский журнал «Ланцет» в надежде найти там выдержки из своих докладов о бацилле желтой лихорадки, которые он посылал в министерство здравоохранения. Консул знал, что из полсотни его добрых знакомых, оставшихся в Соединенных Штатах, едва ли один слышал об этом самом Коралио. Он знал, что только два человека прочтут его годовой отчет: какой-нибудь мелкий чиновник в департаменте да наборщик казенной типографии. Может

быть, наборщик заметит, что в Коралио коммерция начала процветать, и даже скажет об этом два слова приятелю, сидя вечером за кружкой пива и порцией сыра.

Только что он написал: «Крупные экспортеры Соединенных Штатов обнаруживают непонятную косность, позволяя французским и немецким фирмам захватывать в свои руки почти все производительные силы этой богатой и цветущей страны...» — как услышал хриплый гудок паровой сирены.

Джедди отложил перо, надел панаму, взял зонт. По звуку он узнал, что прибыл пароход «Валгалла», один из грузовых паровых судов компании «Везувий», занимавшейся перевозкой бананов, апельсинов и кокосов. Все в Коралио, начиная от пятилетних *pinos*<sup>[9]</sup>, могли с точностью определить по свистку паровой сирены, какой пароход прибыл в город.

По извилистым дорожкам, защищенным от солнца, консул пробрался к морю. Благодаря долгой практике он вымеривал свои шаги так аккуратно, что появлялся на песчаном берегу как раз в то время, когда от судна отчаливала шлюпка с таможенными, которые производили осмотр товаров согласно законам Анчурии.

В Коралио нет гавани. Такие суда, как «Валгалла», должны бросать якорь за милю от берега. Их нагружают в море, легкие грузовые суденышки подвозят к ним фрукты. К Солитасу, где была отличная гавань, подходило много кораблей, но в Коралио — лишь грузовые, «фруктовые». Редко-редко остановится в здешних водах каботажное судно, или таинственный бриг из Испании, или — с самым невинным видом — бесстыжая французская шхуна. Тогда таможенные власти удваивают свою бдительность и зоркость. И вот во мраке ночи между прибывшими судами и берегом начинают крейсировать какие-то загадочные шлюпки, а утром в галантерейных и винных лавчонках Коралио замечается множество новых товаров, которых не было еще вчера, в том числе бутылки с тремя звездочками. И говорят, что у таможенных, в карманах их синих штанов с пунцовыми лампасами, в такие дни звенит больше серебра, чем накануне, а в таможне не найти никаких документов, свидетельствующих о получении пошлины.

Шлюпка с таможенными и гичка «Валгаллы» прибыли к берегу одновременно. Впрочем, было так мелко, что пристать к самому берегу не представлялось возможности. Пять ярдов хороших волн отделяло

прибывших от суши. Тогда полуголые караибы вошли в воду и понесли на себе судового комиссара с «Валгаллы» и маленьких туземных чиновников в бумажных рубашках, в соломенных шляпах с опущенными большими полями и в сине-пунцовых штанах.

В колледже Джедди славился своею игрою в бейсбол. Теперь он закрыл зонт, воткнул его в песок и, как лихой бейсболист, нагнулся, опираясь руками в колени. Комиссар, встав в позу подающего, швырнул консулу тяжелую пачку газет, перевязанную бечевкой (каждый пароход привозил консулу газеты). Джедди высоко подпрыгнул и с громким «твак!» поймал брошенную пачку. Гуляющие по берегу — почти треть всего населения — стали аплодировать и весело смеяться. Каждую неделю они ждали этого зрелища, и всегда оно доставляло им радость, В Коралио не поощряли новшества.

Консул снова раскрыл свой зонтик и пошел обратно в консульство.

Представитель великой нации занимал деревянный дом о двух комнатах, обведенный с трех сторон галереей из пальмового и бамбукового дерева. Одна комната служила официальной конторой и была обставлена весьма целомудренно: письменный стол, гамак и три неудобных стула с тростниковыми сиденьями. Висевшие на стене две гравюры изображали президентов Соединенных Штатов, самого первого и самого последнего. Другая комната служила консулу жильем.

Было одиннадцать часов, когда он вернулся с берега: время для первого завтрака. Чанка, караибская женщина, которая стряпала для Джедди, только что накрыла стол на той стороне галереи, которая была обращена к морю и славилась как самое прохладное место в Коралио. На завтрак был подан бульон из акульих плавников, рагу из земных крабов, плоды хлебного дерева, жаркое из ящерицы, вест-индские маслянистые груши авокадо, только что срезанный ананас, красное вино и кофе. Джедди сел за стол и блаженно-лениво развернул свою пачку газет. Два дня подряд он будет читать здесь, в Коралио, обо всем, что творится на свете, с таким же чувством, с каким мы читали бы маловероятные сведения, сообщаемые той неточной наукой, которая тщится описывать дела марсиан. После того как он прочтет эти газеты, он предоставит их поочередно другим англо-американцам, живущим в Коралио.

Первая попавшаяся ему в руки газета принадлежала к разряду тех обширных печатных матрацев, на которых, как приятно думать, читатели нью-йоркских газет вкушают свой литературный сон по воскресеньям. Консул разостлал ее перед собою на столе и подпер ее увесистый край с помощью спинки стула. Потом он не спеша занялся едой; изредка он перевертывал страницы и небрежно пробежал глазами по строкам.

Вдруг ему бросилось в глаза что-то страшно знакомое — занимающая половину страницы неряшливо оттиснутая фотография какого-то судна Лениво всмотревшись в картинку, он всмотрелся и в заглавие статьи, напечатанное рядом крупнейшими буквами.

Да, он не ошибся. Картинка изображала «Идалию», восьмисоттонную яхту, принадлежащую, как говорилось в газете, «лучшему из лучших, Мидасу денежного рынка и образцу светского человека, Дж. Уорду Толливеру».

Медленно потягивая черный кофе, Джедди прочитал статью. В ней подробно исчислялось все движимое и недвижимое имущество мистера Толливера, потом столь же подробно была описана его великолепная яхта, а дальше, в конце, сообщалась главная новость, крошечная, как горчичное зерно: мистер Толливер, вместе со своими друзьями, отправляется в шестинедельное плаванье вдоль среднеамериканского и южноамериканского берега и среди Багамских островов. В числе его гостей находятся миссис Кэмберленд Пэйн и мисс Ида Пэйн из Норфолька.

Чтобы угодить своим читателям, автор статейки сочинил целый роман. Он так часто склеивал имена мисс Пэйн и мистера Толливера, что казалось, будто он уже держит над ними брачный венец. Жеманно и двусмысленно играл он словами: «в городе упорно говорят», «носятся слухи», «нас не удивило бы, если бы» — и в конце концов приносил поздравления.

Джедди, окончив завтрак, взял газеты, отправился к концу веранды и, опустившись в свое любимое палубное кресло, положил ноги на бамбуковые перила. Он закурил сигару и глядел в море. Ему было приятно сознавать, что прочитанное несколько не взволновало его. Он радовался, что наконец-то ему удалось победить ту печаль, которая погнала его в добровольное изгнание в эту далекую страну лотоса<sup>[10]</sup>. Конечно, Иды ему не забыть никогда, но мысль о ней уже не

причиняла ему боли, Когда Ида повздорила с ним, он напросился на эту консульскую службу в Коралио, горя желанием отомстить Иде, порвать не только с ней, но и со всей атмосферой, которая окружала ее. И это ему удалось. За весь год, что он находился в Коралио, ни он ей, ни она ему не написали ни единого слова, хотя от немногочисленных друзей, с которыми он еще изредка переписывался, он кое-что узнавал о ней. И все же ему было приятно узнать, что она до сих пор не вышла ни за Толливера, ни за кого другого. Но, очевидно, Толливер еще не потерял надежды.

Впрочем, Джедди теперь все равно. Он вкусил цветов лотоса. Он чувствовал себя превосходно в этой земле вечно жаркого солнца. Те давно минувшие дни, когда он жил в Соединенных Штатах, казались ему раздражающим сном. Дай бог Иде такого же счастья, каким наслаждался он теперь. Воздух бальзамический, как в далеком Авалоне<sup>[11]</sup>, вольный, безмятежный поток зачарованных дней; жизнь среди этого праздного и поэтического народа, полная музыки, цветов и негромкого смеха; такое близкое море и такие близкие горы; многообразные видения любви, красоты, волшебства, распускающиеся белой тропической ночью, — все это доставляло ему несказанную радость. Кроме того, не нужно забывать и о Пауле Брэнигэн.

Джедди думал жениться на Пауле, конечно если она даст согласие; впрочем, он был твердо уверен, что она не откажет. Но почему-то он все не делал предложения. Несколько раз слова уже готовы были сорваться у него с языка, но что-то непонятное всегда мешало. Может быть, здесь сказывался бессознательный страх, что, если он произнесет эти слова, будет порвано последнее звено, соединяющее его с прежним миром.

С Паулой он будет очень счастлив. Мало было в этом городе девушек, которые могли бы сравняться с нею. Она два года училась в монастырской школе в Новом Орлеане, так что, когда на нее находила блажь пощеголять своим образованием, она оказывалась ничуть не хуже девушек из Норфолька и Манхэттена. Но сладостно было смотреть на нее, когда она облакалась в национальный испанский костюм и гуляла по комнате с голыми плечами и широко развевающимися рукавами.

Бернард Брэнигэн был крупнейший купец в Коралио. Он торговал не только на побережье, но и водил караваны мулов, поддерживая

оживленную связь с жителями деревень и городишек, находящихся внутри страны. Его супруга была местная аристократка, знатного кастильского рода, но на ее оливковых щеках был коричневый оттенок, свидетельствующий об индейской примеси. От союза ирландца с испанкой произошел, как это часто бывает, отпрыск удивительно красивый и самобытный.

И родители и дочь были в высшей степени приятные люди, и верхний этаж их дома был давно уже к услугам Джедди и Паулы, стоило ему только собраться с силами и заговорить об этом.

Прошло два часа. Консулу наскучило чтение. Газеты в беспорядке лежали возле него на галерее. Разлегшись в кресле, полусонными глазами смотрел он на раскинувшийся вокруг него рай. Банановая роща широкими своими щитами заслоняла от его взоров море. Отлогий спуск от консульства к берегу был укутан темно-зеленой листвой апельсиновых и лимонных деревьев, только что начавших цвести. Лагуна врезалась в берег, как темный зубчатый кристалл, и над нею бледное чибовое дерево вздымалось чуть не к облакам. Зыблющаяся листва кокосовых пальм сверкала огненной декоративной зеленью на сером графите почти неподвижного моря. Джедди смутно чувствовал яркую охру и кричащую красную краску среди слишком зеленого молодого кустарника, чувствовал запах плодов, запах только что расцветших цветов, запах дыма от глиняной плиты кухарки Чанки, стряпающей под тыквенным деревом, он слышал дискантовый смех туземных женщин, несущийся из какой-то лачуги, слышал песню красногрудки, ощущал соленый вкус ветерка, диминуэндо<sup>[12]</sup> еле уловимой прибрежной волны — и понемногу возникло перед ним белое пятнышко, которое все росло и росло и в конце концов выросло в большое пятно на серой поверхности моря.

С ленивым любопытством он следил, как это пятно все увеличивалось и вдруг превратилось в яхту «Идалия», несущуюся на всех парах параллельно берегу. Не меняя позы, Джедди следил за хорошенькой белой яхтой, как она быстро приближалась, как поровнялась с Коралио. Потом, выпрямившись, он увидел, как она пронеслась мимо и скрылась из виду. Она прошла совсем близко, в какой-нибудь миле от берега. Он видел, как поблескивали ее надраенные медные части, он видел полосы ее палубных тентов, но подробнее он не мог рассмотреть ничего. Как корабль в волшебном

фонаре, «Идалия» проплыла по освещенному кружочку его миниатюрного мира — и пропала. Если бы не осталось легкого дымка на горизонте, можно было бы подумать, что она Явление нематериального мира, химера его праздного мозга.

Джедди вернулся в контору и снова засел за отчет. Если чтение газетной статейки не слишком растревожило его, то это безмолвное движение внезапно появившейся яхты умиротворило его окончательно. Она принесла с собою мир и покой, ибо у него уже не осталось и тени сомнения. Он знал, что люди, сами не сознавая того, часто продолжают лелеять надежды. Теперь, когда Ида проехала по морю две тысячи миль и только что промчалась мимо него, не подав ему знака, даже подсознательно ему нечего больше было цепляться за прошлое.

После обеда, когда солнце спряталось за гору, Джедди вышел прогуляться по узкой полоске берега, под кокосовыми пальмами. Легкий ветерок дул с моря, испещряя поверхность воды еле заметными волнами. Крошечный девятый вал, нежно шелестя по песку, прибил к берегу какой-то блестящий и круглый предмет. Волна отхлынула, и предмет покотился назад. Следующая волна снова вынесла его на песок, и Джедди поднял его.

Предмет оказался винной бутылкой из бесцветного стекла. У бутылки было длинное горло. Пробка была вдавлена очень глубоко и туго, и горло запечатано темно-красным сургучом. В бутылке не было ничего, кроме листа скомканной бумаги, которую, очевидно, смяли, когда протискивали в узкое горлышко. На сургуче был оттиск кольца с какой-то монограммой; но, должно быть, оттиск делали впопыхах: разобрать инициалы было невозможно. Ида Пэйн всегда носила перстень с печаткой и любила его больше других колец. Джедди казалось, что на сургуче оттиснуты знакомые буквы И. П., и почему-то он почувствовал волнение. Это напоминание гораздо интимнее отражало ее личность, чем та яхта, на которой она только что промчалась. Он вернулся домой и поставил бутылку на письменный стол.

Сбросив шляпу и пиджак, он зажег лампу, так как ночь стремительно сгущалась после коротких сумерек, и стал внимательно рассматривать свою морскую добычу.



Приблизив бутылку к свету и понемногу поворачивая ее, он в конце концов разглядел, что она заключала в себе два листа мелко исписанной почтовой бумаги, что бумага была того же формата и цвета, как та, на которой писала свои письма Ида Пэйн, и что почерк, насколько он мог установить, был ее. Грубое стекло так искривляло лучи света, что Джедди не мог прочитать ни единого слова, но некоторые заглавные буквы, которые ему удалось рассмотреть, были написаны Идой, это было совершенно бесспорно.

С еле заметной улыбкой смущения и радости Джедди снова поставил бутылку на стол и рядом с нею аккуратно расположил три сигары. Потом он пошел на галерею, принес оттуда палубное кресло и комфортабельно разлегся в нем. Он будет курить сигары и размышлять над создавшейся проблемой.

А проблема была трудная. Лучше бы ему не вылавливать этой бутылки! Но бутылка была перед ним. Море, откуда приходит так много тревог, — зачем оно пригнало к нему эту бутылку, разрушившую его душевный покой!

В этой сонной стране, где времени было больше, чем нужно, он привык размышлять даже над ничтожными вещами.

Много самых причудливых гипотез пришло ему в голову по поводу этой бутылки, но каждая в конце концов оказывалась вздором.

Такие бутылки порою бросают с тонущих или потерпевших аварию кораблей, вверяя этим ненадежным вестникам призыв о помощи. Но ведь не прошло и трех часов с тех пор, как он видел «Идалию» она была цела и невредима. Может быть, на яхте взбунтовались матросы, пассажиры заперты в трюме и письмом, заключенным в бутылке, молят о помощи! Нет, это слишком неправдоподобно, и, кроме того, неужели взволнованные узники стали бы исписывать мелким почерком четыре страницы, чтобы подробно доказывать, почему их необходимо спасти?

Так постепенно, путем исключения, он забраковал все эти невероятные гипотезы и остановился на одной, гораздо более правдоподобной: письмо в бутылке было адресовано ему. Ида знает, что он в Коралию; проезжая мимо, она бросила свое послание в море, а ветер пригнал его к берегу.

Едва Джедди пришел к такому выводу, как на лбу у него прорезалась морщинка и возле губ появилось выражение упрямства.

Он продолжал сидеть, глядя в открытую дверь на гигантских светляков, бредущих по тихим улицам.

Если это послание было от Иды, о чем она могла писать ему, как не о примирении? Но в таком случае, зачем она вверилась сомнительной и ненадежной бутылке? Ведь для писем существует почта. Бросать в море бутылку с письмом! Это легкомыслие, это дурной тон. Это даже, если хотите, обида!

При этой мысли в нем пробудилась гордыня, которая заглушила все прочие чувства, воскрешенные в нем найденной бутылкой.

Джедди надел пиджак и шляпу и вышел. Вскоре он оказался на краю маленькой площади, где играл оркестр и люди, свободные от всяких дел и забот, гуляли и слушали музыку. Пугливые сеньориты то и дело проносились мимо него со светляками в черных, как смоль, волосах, улыбаясь ему робко и льстиво.

Воздух одурял ароматами жасмина и апельсинных цветов.

Консул замедлил шаги возле дома, где жил Бернارد Брэнигэн. Паула качалась в гамаке на галерее. Она выпорхнула, словно птица из гнезда. При звуках голоса Джедди на щеках у нее выступила краска.

Ее костюм очаровал его: кисейное платье, все в оборках, с маленьким корсажем из белой фланели — какой стиль, сколько изящества и вкуса! Он предложил ей пойти прогуляться, и они побрели к старинному индейскому колодцу, выкопанному под горой у дороги Сели рядом на Колодезном срубе, и там Джедди наконец-то сказал те слова, которых от него так давно ждали. И хотя он знал, что ему не будет отказа, он весь задрожал от восторга, увидев, как легка была его победа и сколько счастья доставила она побежденной. Вот сердце, созданное для любви и верности. Не было ни кокетливых ужимок, ни расспросов, ни других, требуемых приличиями, капризов.

Когда Джедди в этот вечер целовал Паулу у дверей ее дома, он был счастлив как никогда.

Здесь, в этом царстве лотоса,  
В этой обманной стране,  
Покоиться в сонной истоме —

казалось ему, как и многим мореходам до него, самым упоительным и самым легким делом. Будущее у него идеальное. Он очутился в, раю, где нет никакого змея. Его Ева будет воистину частью

его самого, недоступная соблазнам и оттого лишь более соблазнительная. Сегодня он избрал свою долю, и его сердце было полно спокойной, уверенной радости.

Джедди вернулся к себе, насвистывая эту сладчайшую и печальнейшую любовную песню, «La Golondrina»<sup>[13]</sup>. У двери к нему навстречу прыгнула, весело болтая, его ручная обезьянка. Он направился к письменному столу, чтобы достать обезьяне орешков. Шаря в полутьме, его рука наткнулась на бутылку. Он отпрянул, словно дотронулся до холодного, круглого тела змеи.

Он совсем забыл, что существует бутылка.

Он зажег лампу и стал кормить обезьянку. Потом очень старательно закурил сигару, взял в руки бутылку и пошел по дорожке к берегу. Была луна, море сияло. Ветер переменялся и, как всегда по вечерам, дул с берега.

Приблизившись к самой воде, Джедди размахнулся и швырнул бутылку далеко в море. На минуту она исчезла под водой, а потом выпрыгнула, и ее прыжок был вдвое выше ее собственной вышины. Джедди стоял неподвижно и смотрел на нее. Луна светила так ярко, что ему было ясно видно, как она прыгает по мелким волнам — вверх и вниз, вверх и вниз. Она медленно удалялась от берега, вертясь и поблескивая. Ветер уносил ее в море. Вскоре она превратилась в блестящую точку, то исчезающую, то вновь появляющуюся, а потом ее тайна исчезла навеки в другой великой тайне: в океане. Джедди неподвижно стоял на берегу, курил сигару и смотрел в море.

— Симон! О Симон! Проснись же ты, Симон! — орал чей-то звонкий голос у края воды.

Старый Симон Крус был метис, рыбак и контрабандист, живший в хижине на берегу. Он только что вздремнул, и вот его будят.

Он вышел из хижины и увидел своего знакомого, младшего офицера с «Валгаллы», только что причалившего в шлюпке к берегу. Его сопровождали три матроса.

— Вставай, Симон! — крикнул офицер, — и разыщи доктора Грэгга, или мистера Гудвина, или кого другого из приятелей мистера Джедди и тащи их поскорее сюда.

— Святители небесные! — воскликнул сонный Симон. — Не случилось ли с консулом беды?

— Он под этим брезентом, — сказал офицер, указывая на свою шляпку. — Еще немного, и был бы утопленником. Мы увидели его с судна, за милю от берега; он плыл, как сумасшедший, за какой-то бутылкой... но бутылка уплывала все дальше. Мы спустили ялик — и к нему. Казалось, что вот-вот он поймает бутылку, нужно было только руку протянуть, но тут он ослабел и погрузился в воду. Хорошо, что мы подоспели вовремя. Может быть, он еще жив, но тут нужен доктор, — это уж ему решать.

— Бутылка? — сказал старик, протирая глаза. Он еще не совсем проснулся. — Где бутылка?

— Плывет где-нибудь там, — сказал моряк, тыкая большим пальцем по направлению к морю. — Да проснись же ты, Симон!

### III. Смит

Гудвин и пылкий патриот Савалья сделали все возможное, чтобы не дать президенту Мирафлоресу скрыться. Они послали надежных людей в Солитас и Аласан, чтобы предупредить тамошних вожаков о побеге и выставить патрули, которые должны были сторожить побережье и во что бы то ни стало арестовать президента и его прекрасную подругу, если они появятся на берегу. После этого оставалось только позаботиться об установлении таких же наблюдательных постов вокруг Коралио и ждать, чтобы птицы прилетели. Силки были расставлены отлично. Дорог было так мало, количество мест, где можно было отчалить от берега, было так ограничено, все эти места были под такой сильной охраной, что показалось бы чудом, если бы из этой сети ускользнуло столько анчурийского достоинства, анчурийской романтики и денег. Президент, несомненно, сделает попытку достигнуть берега тайно; втихомолку попробует он пробраться на корабль в каком-нибудь укромном местечке.

На четвертый день после того как пришла телеграмма, трижды закричала сирена, и в водах Коралио бросил якорь норвежский пароход «Карлсефин». Он не принадлежал фруктовой компании «Везувий», а действовал, как: дилетант, работая на мелкую торговую фирму, которая была слишком ничтожна, чтобы соперничать с компанией «Везувий». Рейсы «Карлсефина» зависели от состояния рынка. Иногда он регулярно курсировал между Новым Орлеаном и Центральной Америкой, а потом отправлялся в Мобил или в Чарлстон, а то и в Нью-Йорк, смотря по тому, где повышался спрос на фрукты.

Гудвин бродил по берегу с обычной толпой ротозеев, собравшихся посмотреть на новоприбывшее судно. Теперь, когда каждую минуту можно было ждать беглеца-президента, требовалась строгая, неослабная бдительность. Каждое судно, появившееся у берегов, можно было рассматривать как «потенциальное орудие бегства; даже шлюпки и тузики, составлявшие флотилию города, были взяты под сильнейшее подозрение. Гудвин и Савалья незаметно обследовали всю

свою сеть, проверяя, нет ли где порванной петли, откуда могла бы ускользнуть их добыча.

Таможенные чиновники важно уселись в казенную шлюпку и поплыли к «Карлсефину». Пароходная шлюпка привезла на берег комиссара с бумагами, увезла с собой карантинного доктора с зеленым зонтиком и больничным термометром. Потом чернокожие начали нагружать на свои плоскодонки гроздь бананов, сложенные на берегу большими грудками, и отвозить их на пароход. Так как пассажиров на этом пароходе не было, власти скоро покончили со всеми формальностями. Комиссар заявил, что судно останется на якоре лишь до утра и потому будет грузиться всю ночь. По его словам, «Карлсефин» пришел из Нью-Йорка, куда он в последний раз отвозил партию кокосовых орехов и апельсинов. Для ускорения работы были пущены в ход даже две или три пароходные шлюпки, ибо капитан хотел вернуться как можно скорее, чтобы не упустить возможностей, создавшихся благодаря некоторой нехватке фруктов на рынках Штатов.

Около четырех часов близ Коралио появилось следом за роковой «Идалией» еще одно морское чудовище, к каким в здешних водах еще не успели привыкнуть, — изящная паровая яхта, выкрашенная в бледно-желтую краску, четко очерченная, словно гравюра. Красавица неслась к берегам, распиливая волны легко, как утка в лохани с дождевой водой. Скоро к берегу приблизилась быстроходная шлюпка, управляемая гребцами в матросской форме, и на прибрежный песок выскочил коренастый мужчина.

Поглядев как бы с неодобрением на довольно пеструю толпу туземцев, мужчина прямо направился к Гудвину, который изо всех на берегу был самым несомненным англосаксом. Гудвин вежливо приветствовал его.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что фамилия новоприбывшего Смит и что прибыл он на яхте. Тощие биографические данные! Ведь яхта и без того была у всех на виду, а о том, что фамилия незнакомца Смит, можно было догадаться по его наружности. Но Гудвину, выдавшему виды, бросилось в глаза несоответствие между Смитом и его яхтой. У Смита голова была, как пуля, у Смита были тупые и косые глаза, усы у Смита были, как у бармена, который смешивает в кабаке коктейли. И если только он не

переоделся по прибытии в здешние воды, он, значит, имел дерзость оскорблять палубу своей благородной яхты котелком светло-серого цвета, клетчатым костюмчиком и водевильным галстуком. Люди, имеющие собственные яхты, обычно находятся в большей гармонии с ними.

Было ясно, что у Смита есть какое-то дело, но он не афишировал себя. Он сказал несколько слов о здешней местности, заметив, что она точка в точку похожа на картинки в географии; потом он спросил, где живет консул Соединенных Штатов. Гудвин указал ему на тряпицу в полосках и звездах, висевшую над маленьким консульским домиком за апельсиновыми деревьями.

— Вы, несомненно, застанете консула дома, — сказал Гудвин. — Мистер Джедди чуть не утонул несколько дней назад, он заплыл слишком далеко во время купания. Доктор запретил ему пока что выходить из дома.

Смит пустился вспахивать ногами песок по дороге в консульство. Его крикливый и пестрый наряд был в жестокой вражде с мягкими — синими и зелеными-красками тропиков.

Джедди лежал в гамаке, немного бледный и вялый. В ту ночь, когда шлюпка «Валгаллы» доставила на берег его бездыханное тело, доктор Грэгг и другие приятели промучились над ним два-три часа, чтобы сохранить искру жизни, еще тлевшую в нем. Бутылка с бесплодным посланием так и умчалась в море, и созданная ею проблема свелась к простой задачке на сложение: по правилам арифметики один да один — два; по правилам романтики — один.

Существует забавная старинная теория, что у человека могут быть две души — одна внешняя, которая служит ему постоянно, и другая внутренняя, которая пробуждается изредка, но, проснувшись, живет интенсивно и ярко. Подчиняясь первой, человек бреется, голосует, платит налоги, содержит семью, покупает в рассрочку мебель и вообще ведет себя нормально. Но стоит внутренней душе взять верх, и в один миг тот же человек начинает изливать на свою спутницу жизни поток яростного отвращения; не успеете вы оглянуться, как он изменяет свои политические взгляды, наносит смертельное оскорбление своему лучшему другу, удаляется в монастырь или в дансинг, исчезает, вешается, или — пишет стихи и песни, или целует жену, когда она его о том не просила, или отдает все свои сбережения

на борьбу с каким-нибудь микробом. Потом внешняя душа возвращается, и перед нами снова наш уравновешенный, спокойный гражданин. То, что было, это всего лишь бунт Индивидуума против Порядка; надо было перетряхнуть атомы человека, чтобы дать им снова осесть на положенных местах.

У Джедди встряска оказалась не очень серьезной — всего-навсего прогулка вплавь по теплому морю, погоня за столь прозаическим предметом, как дрейфующая бутылка. И теперь он снова стал самим собою. У него на письменном столе лежало готовое к отправке прошение о скорейшем его увольнении с должности консула. Бернард Брэнигэн не терпел отлагательств и сразу предложил Джедди стать компаньоном в его прибыльных и разнообразных делах, а Паула с упоением строила планы новой мебелировки и нового убранства верхнего этажа Брэнигэнова дома.

Консул приподнялся в гамаке, увидев у себя столь заметного гостя.

— Сидите, сидите, любезнейший! — сказал гость, широко помахивая ручищей. — Моя фамилия Смит. Приехал на яхте. Вы как будто консул, не так ли? Там, на берегу, стоит вот этакий верзила, очень важный, он показал мне как пройти. И я подумал: зайду. Окажу решпект родному флагу.

— Присядьте, — сказал Джедди. — У вас великолепная яхта. Я все время люблюсь ею, с тех пор как она появилась у нас. И ход у нее, кажется, быстрый. А каков тоннаж?

— Черт ее знает! — сказал Смит. — Сколько она весит, для меня безразлично. Но ход у нее первый сорт: никому не даст пылить себе в нос. Зовут ее «Бродяга», и это моя первая поездка. Надумал прокатиться, поглядеть на места, откуда к нам привозят перец, резину и революции. Я и не знал, что тут столько пейзажей. Куда ни пойдешь — пейзаж. Центральный парк в Нью-Йорке, и тот, пожалуй, спасует перед этим. Тут у вас и кокосы, и мартышки, и попки, не правда ли?

— Да, — ответил Джедди. — Я совершенно уверен, что наша флора и фауна могли бы затмить флору и фауну Центрального парка.

— Возможно! — согласился Смит весьма охотно. — Я их не видал. Но думаю, что по животной и растительной части вы нас перешибете. А много ли у вас путешественников?

— Путешественников? — переспросил консул. — Вы, должно быть, хотите сказать, пассажиров, приезжающих на пароходах? Нет,



мало кто останавливается в Коралио. Разве что деловой человек, ищущий, куда поместить капиталы, а туристы и любители красивых видов обычно проезжают дальше, в те города, где есть гавани.

— А вот этот пароход, который нагружают бананами? — сказал Смит. — Есть на нем пассажиры какие-нибудь?

— Это «Карлсефин», — сказал консул. — Фруктовое судно без правильных рейсов. Сейчас оно, кажется, пришло из Нью-Йорка. На нем нет пассажиров. Я видел его шлюпку, когда она шла к берегу, и там не было никого постороннего. Ведь это в сущности наше единственное развлечение — рассматривать пароходы, которые прибывают к нам; всякий пассажир — большое событие в городе. Если вы намерены пожить некоторое время в Коралио, мистер Смит, я буду рад познакомить вас с несколькими здешними жителями. Здесь есть американцы — пять-шесть человек, — с которыми приятно познакомиться, а также лучшие представители местного общества.

— Спасибо, — сказал Смит. — Не беспокойтесь! Рад бы поболтать с земляками и прочее, но я здесь на самое короткое время. Этот важный там, на берегу, говорил о каком-то докторе, не можете ли вы сказать мне, где этот доктор живет? «Бродяга» не так твердо стоит на ногах, как гостиница на Бродвее, в Нью-Йорке, и с человеком то и дело приключается морская болезнь. Хорошо бы запастись пилюлями в дорогу; горсть маленьких и сладких пилюль не мешает.

— Вернее всего вы застанете доктора Грэгга в гостинице, — сказал консул. — Гостиница видна отсюда: то двухэтажное здание с балконом, где апельсиновые деревья.

Отель де лос Эстранхерос был мрачен, его избегали и свои и чужие. Он стоял на углу улицы Гроба Господня. К одному его крылу примыкала роща молодых апельсиновых деревьев, окруженная низкой каменной оградой, через которую легко мог перешагнуть человек высокого роста. Дом был оштукатурен, соленый ветер и солнце расцветили его пятнами всевозможных оттенков. На верхний балкон его выходила дверь и два окна с деревянными жалюзи вместо рам.

Из нижнего этажа две двери открывались на узкий каменный тротуар. Здесь внизу помещалась *pulperia* — распивочная, которую содержала хозяйка гостиницы, мадама Тимотеа Ортис. Позади прилавка на бутылках с водкой, анисовкой, шотландской горькой и дешевыми винами лежала густая пыль, разве что редкий гость оставит

на бутылке следы своих пальцев. В верхнем этаже было пять или шесть номеров, которые почти всегда пустовали. Редко-редко какой-нибудь плантатор прискачет на коне из своего сада, чтобы потолковать со своим агентом по продаже фруктов, и проведет меланхолическую ночь в одном из этих верхних номеров; иногда мелкий чиновник-туземец, приехавший сюда с помпой по какому-нибудь пустяковому казенному делу, в испуге предаст себя гробовому гостеприимству мадамы. Но мадама, вполне довольная, сидела за стойкой и не пыталась бороться с судьбой. Если кому нужно поесть, или выпить, или переночевать в отеле де лос Эстранхерос — милости просим, пожалуйста. *Esta bueno.*<sup>[14]</sup> Если же никто не приходит — ну что же! Никто не приходит. *Esta, bueno.*

Когда изумительный Смит пробирался по зыбким тротуарам улицы Гроба Господня, единственный постоянный жилец этого увядшего отеля сидел возле дверей, услаждая себя дуновением моря.

Доктору Грэггу, карантинному врачу, было лет пятьдесят-шестьдесят. Он обладал румяными щеками и самой длинной бородой между Огненной Землей и Топикой. Должность карантинного врача досталась ему потому, что медицинский департамент в морском городке некоего южного штата испугался желтой лихорадки — этого древнего бича всех южных портов. Доктору Грэггу вменялось в обязанность осматривать команду и пассажиров всякого судна, покидающего Коралию, — не окажется ли у них ранних симптомов болезни. Обязанность легкая, жалованье — для живущего в Коралию — большое. Свободного времени много, и милый доктор стал пополнять свои заработки частной практикой среди жителей всего побережья. По-испански он не знал и десяти слов, но это не смущало его — не нужно быть лингвистом, чтобы щупать пульс и получать гонорар. Если прибавить к этому, что доктор постоянно стремился рассказать одну историю по поводу трепанации черепа, что ни разу никто не дослушал этой истории до конца и что водку он считал профилактическим средством, то этим будут исчерпаны все его наиболее интересные качества.

Доктор вынес на улицу стул. Он сидел без пиджака, прислонившись к стене, курил и поглаживал бороду. В его выцветших голубеньких глазках выразилось изумление, когда он увидел Смита в костюме всех цветов радуги.

— Вы и есть доктор Грэгг, не так ли? — сказал Смит, теребя украшавшую его галстук булавку собачью голову. — Констебль, то есть консул, сказал мне, что вы живете в этом караван сарае. Моя фамилия Смит. Я приехал на яхте. Просто так, для прогулки — поглядеть на обезьян и ананасы. Зайдем-ка под крышу, док, и выпьем. Вид у этого кафе паршивый, но авось и в нем найдется влага.

— Я с удовольствием, разделю ваше общество, сэр, — сказал доктор Грэгг, бодро вставая, — и позволю себе проглотить одну рюмочку водки. Я нахожу, что в качестве профилактического средства небольшая порция водки необычайно полезна при здешних климатических условиях.

Они направились к пульперии, как вдруг туземец, босой, бесшумно приблизился к ним и обратился к доктору, на испанском языке. Он весь был серо-желтого цвета, как перезревший лимон; на нем была рубаха из бумажной ткани, рваные полотняные брюки и кожаный пояс. Лицо у него было, как у зверька, подвижное и шустрое, но проблесков ума было мало. Он заговорил взволнованно и так серьезно, что жаль было глядеть, как столько пыла пропадает напрасно.

Доктор Грэгг пощупал его пульс.

— Больны?

— *Mi mujer esta enferma en la casa*, — сказал человек; он сообщил на единственном доступном ему языке, что его жена лежит больная в лачуге под пальмовой крышей.

Доктор вытащил из кармана горсточку капсуль, наполненных каким-то белым порошком. Он отсчитал десять штук, дал их туземцу и выразительно поднял указательный палец.

— Принимай по одной каждые два часа.

Тут он поднял два пальца и с чувством помахал ими перед лицом туземца. После этого он достал часы и дважды обвел пальцем вокруг циферблата. Затем два пальца опять потянулись к самому носу пациента.

— Два... два... два часа... — повторил доктор.

— *Si, Senor*,<sup>[15]</sup> — безрадостно сказал пациент.

Он вытащил из своего кармана дешевые серебряные часы и сунул их доктору в руку.

— Мой принесет, — говорил он, мучительно борясь с теми немногими английскими словами, которые были случайно известны

ему, — мой принесет завтра другие часы.

Потом он удалился, унылый, со своими капсулями.

— Невежественный народ, сэр! — сказал доктор, опуская часы в карман. — Кажется, этот субъект смешал мой рецепт с гонораром. Ну, не беда. Он все равно мой должник. А других часов — это он врет — не принесет! Разве можно полагаться на этих людей? Обещают и надуют... Ну, а как же наша выпивка, мистер Смит? Каким путем вы прибыли в Коралио? Я и не знал, что в последнее время, кроме «Карлсефина», нас посетили другие суда.

Они остановились у покинутой стойки; доктор не промолвил больше ни слова, но мадама уже поставила перед ним бутылку. На этой бутылке пыли не было.

После второго стакана Смит сказал:

— Вы говорите, док, на «Карлсефине» нет пассажиров. А уверены вы в этом, мой милый? Как будто на берегу говорили, что есть... Двое или трое.

— Ни одного, — сказал доктор. — Я сам делал медицинский осмотр. Видел всю команду, там нет ни одного пассажира. Пароход снимется с якоря чуть только закончит погрузку, то есть рано утром, на рассвете... Все формальности уже закончены. Нет, там нет никаких пассажиров. Как вам нравится этот коньяк? Его привезла французская шхуна с месяц назад, целых две шлюпки с коньяком. Пари держу, что наша знаменитая республика не получила за него ни реала пошлины. Но вы не желаете пить? Тогда выйдем на улицу и посидим в холодке. Не часто нам, изгнанникам, случается беседовать с людьми из внешнего мира.

Доктор вынес на улицу еще один стул, поставил его рядом со своим и усадил нового знакомого.

— Вы человек бывалый, — сказал он. — Вы много путешествовали, много видели. Ваше суждение в вопросах этики, а также в вопросах чести, права и профессионального долга имеет значительный вес. Я был бы рад, если бы вы позволили мне рассказать один случай, который в летописях современной медицины является небывалым событием. Лет девять назад, когда я занимался практикой в моем родном городе, меня пригласили к больному, у которого была контузия черепа. Осколок кости нажимает на мозг — таков был мой диагноз. Хирургическая операция, называемая трепанацией черепа,

была неизбежна. Но так как пациент был джентльменом богатым и уважаемым в городе, я счел необходимым пригласить на консилиум — Смит вскочил с места и с видом нежной мольбы положил руку на плечо собеседнику.

— Вот что, док! — сказал он торжественным тоном. — Дело это очень интересное, и мне будет жаль не дослушать до конца. Я уже по началу чувствую, что дальше будет нечто замечательное, и я намерен изложить всю историю, если позволите, на ближайшем медицинском конгрессе. Но у меня срочные дела. Я живо управлюсь с ними и опять приду к вам вечером. И вы доскажете мне всю эту историю. Ладно?

— Конечно, конечно, — сказал доктор. — Идите раньше по своим делам, кончайте их и приходите сюда. Я подожду. Дело в том, что на консилиуме один из самых выдающихся врачей утверждал, будто у больного в мозгу сгустки крови, другой говорил, что нарыв, но я...

— Что вы делаете? Зачем вы рассказываете? Этак вы испортите всю вашу историю. Подождите, пока я вернусь. Тогда вы размотаете всю эту повесть медленно, как нитку с катушки.

Горы подняли свои мускулистые плечи, чтобы коням Аполлона промчаться по ним на покой, день умер и в лагунах, и в тенистых банановых рощах, и в болотах, заросших тропической зеленью, откуда выползли синие крабы для ночных прогулок по земле. И, наконец, он умер на высочайших вершинах. Потом — краткие сумерки, эфемерные, как полет мотылька, и вот верхнее око Южного Креста выглянуло из-за пальмовой аллеи, и огромные светляки возвещают своими факелами тихое пришествие ночи.

В море «Карлсефин» качался на якоре. Казалось, что его огни пронзают воду своими дрожащими копьями до неизмеримых глубин. Караибы грузили пароход, то и дело подъезжая к нему на больших плоскодонках, доверху полных бананами.

На песчаном берегу, прижавшись спиной к кокосовой пальме, весь окруженный окурками бесчисленных сигар, сидел Смит и глядел неустанно, не сводя своих острых глаз с парохода.

Этот нелепый турист почему-то сосредоточил все свое внимание на невиннейшем «фруктовом» пароходе. Дважды ему было сказано, что там нет ни одного пассажира. И все же с настойчивостью, которая едва ли подобала столь беспечному гуляке, он проверял эти сведения собственными глазами. Изумительно похожий на какую-то яркую и

пеструю ящерицу, он скрючился у подножия кокосовой пальмы и кругленькими бойкими глазенками ящерицы вонзился в пароход «Карлсефин».

На белом песке покоилась еще более белая, принадлежавшая яхте гичка под охраной одного из ее белых матросов. Неподалеку, в прибрежной пульперии на Калье Гранда, три других матроса с яхты сражались друг с другом вокруг единственного в Коралио бильярда. Казалось, был отдан приказ, чтобы лодка была в любую минуту готова к отплытию. Вообще в атмосфере было ожидание, предчувствие — вот-вот что-то должно случиться, что совершенно чуждо воздуху Коралио.

Словно какая-то разноцветная залетная птица, Смит опустился на этот усеянный пальмами берег лишь для того, чтобы почистить перышки и опять улететь на бесшумных крыльях. Когда забрезжило утро, уже не было ни Смита, ни гички, ни яхты. Смит никому не оставил никаких поручений; он не оставил следов, по которым могли бы прочесть его тайну на песчаном побережье Коралио. Он появился, поговорил на своем странном жаргоне, жаргоне кафе и асфальта; посидел под кокосовой пальмой — и сгинул. На следующее утро Коралио, бессмитный, ел бананы и говорил: «Человек в раскрашенных одеждах ушел прочь». Вместе с сиестой<sup>[16]</sup> весь этот случай отошел, зевая, в историю.

Та же участь до поры до времени должна постигнуть Смита и в нашем рассказе. Пусть подождет за кулисами. Он никогда не вернется в Коралио, никогда не вернется к доктору Грэггу, который напрасно сидит у порога, поглаживая роскошную бороду и готовясь обогатить своего залетного слушателя волнующей повестью о трепанации черепа и кознях завистников.

Но все же Смит снова возникнет среди этих разрозненных страниц: он пропорхнет среди них, чтобы придать им ясности. Тогда он поведаст нам, почему он разбросал в ту ночь столько взволнованных сигарных окурков вокруг кокосовой пальмы. Он обязан рассказать нам это; ибо, когда перед самым рассветом он уехал на своем «Бродяге», он увез с собою и ключ к загадке, такой большой и нелепой, что немногие в Коралио осмеливались хотя бы загадать ее.

## IV. Пойманы!

Президенту Мирафлоресу и его спутнице было мудрено ускользнуть. Сам доктор Савалья отправился в порт Аласан выставить в этом пункте сторожевые патрули. И в Солитасе это дело было поручено человеку надежному: либеральному патриоту Варрасу. Наблюдение за окрестностями Коралио взял на себя Гудвин.

Известие о побеге президента было сообщено лишь наиболее верным членам честолюбивой политической партии, жаждавшей захватить в свои руки власть. Телеграфный провод, соединяющий город с Сан-Матео, был перерезан далеко в горах одним из подручных Савальи. Когда еще отремонтируют провод, когда еще пошлют из столицы депешу, а беглецы уже достигнут берега и будут пойманы или успеют ускользнуть.

Гудвин поставил вооруженных часовых вдоль берега — на милю от Коралио — справа и слева. Часовым было строго наказано с особым вниманием следить по ночам, чтобы не дать Мирафлоресу возможности воспользоваться челноком или шлюпкой, случайно найденными у края воды. Законспирированные патрули расхаживали по улицам Коралио, готовые схватить беглого сановника, как только он появится в городе.

Гудвин был уверен, что все меры предосторожности приняты. Он ходил по улицам, которые, при всех своих громких названиях, были всего лишь узкими, заросшими травой переулками, и глядел во все глаза, внося и свою лепту в дело охраны Коралио, порученное ему Бобом Энглхартом.

Город уже вступил в медлительный круг своих ежевечерних развлечений. Несколько томных денди, облаченных в белые костюмы, с развевающимися лентами галстука, размахивая бамбуковыми тросточками, прошли по тропинкам к своим сеньоритам. Влюбленные в музыку либо неустанно растягивали плаксивое концертино, либо в окнах и в дверях перебирали унылые гитарные струны. Изредка пронесется случайный солдат, без мундира, босой, в соломенной шляпе с широкими обвисшими полями, балансируя длинным ружьем. Повсюду в густой листве гигантские древесные лягушки квакали

раздражающе громко. Дальше, у опушки джунглей, где кончались тропинки, спесивое молчание леса нарушали гортанные крики мародеров-павианов и кашель аллигаторов в черных устьях болотистых рек.

К десяти часам улицы опустели. Болезненно-желтые огоньки керосиновых фонарей были погашены каким-нибудь экономным приспешником власти. Коралио спокойно почивал между нависшими горами и вторгшимся морем, как похищенный младенец на руках у своих похитителей. Где-нибудь там, в этой тропической тьме может быть уже внизу у моря, авантюрист-президент и его подруга продвигались к краю земли. Игра «Лиса-на-рассвете» скоро, скоро придет к концу.

Гудвин своей обычной неспешной походкой прошел мимо длинного и низкого здания казарм, где отряд анчурийского войска предавался мирному сну, воздев к небесам свои голые пятки. По закону, лица гражданского звания не имели права подходить так близко к этой боевой цитадели после девяти часов вечера, но Гудвин всегда забывал о таких пустяках.

— Quien vive?<sup>[17]</sup> — крикнул часовой, с усилием вскидывая свой длинный мушкет.

— Americano, — проворчал Гудвин, не поворачивая головы, и прошел беспрепятственно.

Направо он повернул и налево, по направлению к Национальной площади. Улицу, по которой он шел, пересекала улица Гроба Господня. За несколько шагов до нее Гудвин остановился как вкопанный.

Он увидел высокого мужчину, одетого в черное, с большим саквояжем в руке. Мужчина быстрыми шагами шел к берегу вниз по улице Гроба Господня. Вторично взглянув на него, Гудвин увидел, что рядом с ним идет женщина, которая не то торопит его, не то помогает ему продвигаться возможно быстрее. Шли они молча. Они жили не в Коралио, эти двое.

Гудвин шел за ними, ускорив шаги, но без всяких ловких шпионских ужимок, столь любезных сердцу ищейки. Он был слишком широк и осанист, инстинкты сыщика ему не пристали. Он считал себя агентом анчурийского народа и, не будь у него политических соображений, тут же потребовал бы возвращения денег. Его партия



поставил? себе целью найти похищенную сумму, вернуть ее в казну и добиться власти без кровопролития и сопротивления.

Неизвестные остановились у входа в отель де лос Эстранхерос, и мужчина постучался в дверь с нетерпением человека, не привыкшего, чтобы его заставляли ждать. Мадама долго не отзывалась; наконец, в окне показался свет, дверь отворилась и гости вошли.

Гудвин стоял в тихой улице и закурил еще одну сигару. Через две-три минуты наверху сквозь щели жалюзи пробился слабый свет.

— Они заняли номера, — сказал Гудвин. — Значит, ничего еще не готово к отплытию.

В эту минуту мимо прошел Эстебан Дельгадо, парикмахер, враг существующей власти, веселый заговорщик против всякого застоя. Этот парикмахер был одним из отъявленных гуляк Коралио, его часто можно было встретить на улице в одиннадцать часов — время позднее! Он был либералом и напыщенно приветствовал Гудвина как соратника в борьбе за свободу. Однако видно было, что у него какие-то важные вести.

— Подумайте только, дон Франк, — зашептал он тем голосом, каким во всем мире говорят заговорщики — Сегодня я брил la barba — то, что вы зовете бородой, у самого Presidente. Вы только подумайте! Он послал за мною. В бедной casita одной здешней старухи он ждал меня — в очень маленьком домике, в темном месте. Caramba! До чего дошло — el Serior Presidente должен так таиться и прятаться. Ему, кажется, не очень хотелось, чтобы его узнали, но, черт возьми, можете вы брить человека и не увидеть его лица? Он дал мне эту золотую монетку и сказал, чтобы я помалкивал.

— А раньше вы видали когда-нибудь президента Мирафлореса? — спросил Гудвин.

— Видел раз, — отвечал Эстебан. — Он высокий, у него была борода, очень черная и большая.

— Был ли кто в комнате, когда вы брили его?

— Старуха краснокожая, сеньор, та, которой принадлежит эта хижина, и одна сеньорита, о, такая красавица — ah, dios!

— Отлично, Эстебан, — сказал Гудвин. — Это очень хорошо, что вы поделились со мной вашим парикмахерским опытом. Будущее правительство не забудет вам этой услуги.

И Гудвин вкратце рассказал парикмахеру о том кризисе, который переживает страна, и предложил ему остаться здесь, на улице, возле отеля, и следить, чтобы никто не пытался бежать через окно или дверь. Сам же Гудвин подошел к той двери, в которую вошли гости, открыл ее и шагнул через порог.

Мадама только что спустилась вниз. Она ходила смотреть, как устроились ее постояльцы. Ее свеча стояла на прилавке Мадама намеревалась выпить крохотную рюмочку рома, чтобы вознаградить себя за прерванный сон. Она не выразила ни удивления, ни испуга, когда увидела, что входит еще один посетитель.

— Ах, это сеньор Гудвин. Не часто достаивает он мой бедный дом своим присутствием.

— Да, мне следовало бы приходить к вам почаще, — сказал Гудвин, улыбаясь по-гудвински. — Я слышал, что от Белисе на севере до Рио на юге ни у кого нет лучшего коньяка, чем у вас. Поставьте же бутылочку, мадама, и давайте отведаем его вдвоем.

— Мой *aguardiente*, — сказала не без гордости мадама, — самого первого сорта Он растет среди банановых деревьев, в темных местах, в очень красивых бутылках. *Si, Senor*. Его можно срывать только ночью; его срывают матросы, которые приносят его до рассвета к задней двери, к черному крыльцу. С хорошим *aguardiente* очень много возни, сеньор Гудвин. Нелегко разводить эти фрукты.

Говорят, что конкуренция-основа торговли. В Коралио основой торговли была контрабанда. О ней говорили с оглядкой, но все же хвастались, если она удавалась.

— Сегодня у вас постояльцы, — сказал Гудвин, кладя на стойку серебряный доллар.

— А почему бы и нет? — сказала мадама, отсчитывая сдачу. — Двое. Только что прибыли. Один сеньор, еще не совсем старый, и сеньорита, довольно Хорошенькая. Они поднялись к себе в комнаты, не захотели ни есть, ни пить. Их комнаты — нумеро девять и нумеро десять.

— Я давно жду этого джентльмена и эту леди, — сказал Гудвин. — У меня к ним важное дело. Можно мне повидать их теперь?

— Почему бы не повидать? — сказала мадама спокойно. — Почему бы сеньору Гудвину не подняться по лестнице и не поговорить со

своими друзьями? Esta bueno. Комната номеро девять и комната номеро десять.

Гудвин отстегнул в кармане свой револьвер и поднялся по крутой темной лестнице.

В коридоре наверху, при свете лампы, распространявшей шафрановый свет, Гудвин легко рассмотрел большие цифры, ярко намалеванные на дверях. Он нажал дверную ручку девятого номера, вошел и затворил за собой дверь.

Если женщина, сидевшая у стола в этой убого обставленной комнате, была Изабеллой Гилберт, то надо сказать, что молва не отдала должного ее чарующей прелести. Она склонилась головой на руку. В каждой линии ее тела чувствовалась страшная усталость; на ее лице была тревога. Глаза у нее были серые, той формы, какая, очевидно, присуща очам всех знаменитых покорительниц сердец; белки блестящие, необычайной белизны. Сверху они были спрятаны тяжелыми веками, снизу оставалась открытой белоснежная полоска. Такие глаза выражают великую силу, великое благородство и — если только можно вообразить себе это — самоотверженный и щедрый эгоизм. Когда американец вошел, она подняла глаза с видом удивленным, но не испуганным.

Гудвин снял шляпу и со свойственной ему спокойной непринужденностью уселся на край стола. В руке у него дымилась сигара. Он решил быть фамильярным, так как знал, что слишком церемониться с мисс Гилберт не стоит: церемонии не приведут ни к чему. Он знал ее жизнь; ему было известно, какую малую роль играли в этой жизни условности.

— Добрый вечер, — сказал он. — Ну, madame. Не будемте мешкать, давайте сейчас же поговорим о делах. Я не называю имен, но я знаю, кто находится в соседней комнате и что у него в саквояже. Это-то и привело меня сюда. Я пришел сказать вам: сдавайтесь без боя — я сейчас же продиктую вам условия.

Дама не шевельнулась и не сказала ни слова. Не отрываясь, смотрела она на кончик его сигары.

— Мы, — продолжал Гудвин, раскачивая ногою и разглядывая свою изящную туфлю из оленьей кожи, — я говорю от лица значительного большинства всего народа, — мы требуем возвращения украденных денег, которые принадлежали народу; больше мы в

сущности ничего не хотим. Наши требования очень несложны. Как представитель народа, я даю вам честное слово, что, если вы возвратите нам деньги, мы не применим к вам никакого насилия. Отдайте наши деньги и уезжайте с вашим спутником, куда хотите. Вам даже будет оказана помощь; вам помогут уехать отсюда на любом пароходе, на каком вы только пожелаете. От себя же я могу только присовокупить, что у джентльмена из десятого номера удивительно тонкий вкус в отношении женской красоты.

Гудвин снова сунул сигару в рот и заметил, что дама ледяным взглядом следит за нею, подчеркнуто сосредоточив на ней все свое внимание. Очевидно, она не слышала ни слова. Он спохватился, выбросил сигару в окно и с веселым смехом встал со стола.

— Так лучше, — скачала дама. — Теперь я могу выслушать вас. Если вы хотите получить от меня еще один урок хороших манер, скажите мне ваше имя. Нужно же мне знать, как зовут человека, который оскорбляет меня.

— Жаль, — сказал Гудвин, опираясь рукой о стол, — нет у меня сейчас времени для этикета. Послушайте, я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Вы не раз доказывали, что хорошо понимаете, в чем состоит ваша выгода. Вот вам еще один случай обнаружить вашу незаурядную смьшленость. В этом деле секретов нет. Я — Франк Гудвин. Я пришел за деньгами. Я очутился в вашей комнате случайно. Если бы я вошел в соседний номер, деньги уже давно были бы у меня в руках. Вы хотите, чтобы я сказал вам, в чем дело? Извольте. Джентльмен из десятого номера пользовался доверием народа, но похитил деньги. Я решил вернуть эти деньги народу. Я не говорю, кто этот джентльмен; но если обстоятельства заставят меня увидеться с ним и он окажется высоким должностным лицом республики, я сочту своим долгом арестовать его. Этот дом под охраной, убежать невозможно. Я предлагаю вам отличные условия. Я даже готов отказаться от личной беседы с джентльменом из десятого номера. Принесите мне саквояж с деньгами, и больше мне ничего не надо.

Дама встала с кресла и целую минуту стояла в глубоком раздумье.

— Вы живете здесь, мистер Гудвин? — спросила она, наконец.

— Да.

— По какому праву вы вошли в мою комнату?

— Я служу республике. Мне сообщили по телеграфу о маршруте... джентльмена из десятого номера.

— Можно задать вам два или три вопроса? Мне кажется, что вы скажете правду. Правдивости в вас, кажется, больше, чем деликатности. Что это за город — этот... Коралио, так, кажется, он называется?

— Ну какой же это город! — сказал Гудвин с улыбкой. — Так, городишко банановый! Соломенные лачуги, глинобитные домики, пять-шесть двухэтажных домов, удобств мало; население: помесь индейцев с испанцами, караибы, чернокожие. Развлечений никаких. Нравственность в упадке. Даже тротуаров порядочных нет. Вот вам и описание Коралио, очень, конечно, поверхностное.

— Но есть же и достоинства, не правда ли? Есть что-нибудь, что могло бы заставить людей из хорошего общества или дельцов поселиться в этом городе надолго?

— О да! — сказал Гудвин, широко улыбаясь. — Достоинства есть, и огромные. Во-первых, полное отсутствие шарманок. Во-вторых, никого не приглашают к вечернему чаю. И в-третьих, широкое гостеприимство для преступников: бежавшие сюда преступники не выдаются властям той страны, откуда они убежали.

— А он говорил мне, — промолвила дама, слегка нахмурившись и словно думая вслух, — что тут, на этом берегу, красивые большие города, что в них очень хорошее общество, особенно американская колония, состоящая из очень культурных людей.

— Да, здесь есть американская колония, — сказал Гудвин, с некоторым удивлением взирая на даму, — иные из них ничего. Но иные убежали от правосудия. Я помню двух сбежавших директоров банка, одного полкового казначея с подмоченной репутацией, двух убийц и некую вдову — ее, кажется, подозревали в отравлении мужа мышьяком. Я тоже принадлежу к этой колонии, но до сих пор, кажется, еще не прославил себя никаким сколько-нибудь заметным преступлением.

— Не теряйте надежды, — сказала дама сухо, — ваше сегодняшнее поведение служит залогом того, что вы скоро прославитесь. Произошла какая-то ошибка. Я не знаю, в чем дело, но ошибка произошла несомненно. Но его вы не должны тревожить. Путешествие утомило его. Он буквально свалился с ног и, кажется, заснул, не

раздеваясь. Вы говорите об украденных деньгах! Я вас не понимаю. Вы, несомненно, ошиблись, и я сейчас же докажу вам это. Подождите здесь, я сейчас принесу саквояж, о котором вы так страстно мечтаете.

Она направилась к закрытой двери, которая соединяла оба номера, но остановилась и окинула Гудвина серьезным, испытующим взглядом, который разрешился непонятной улыбкой.

— Вы насильно ворвались в мою комнату, вы вели себя, как грубиян, и предъявили мне позорнейшие обвинения; и все же... — тут она помедлила, как бы ища подходящее слово, — и все же... и все же это очень странно. Я уверена, что произошла ошибка.

Он а сделал а шаг к двери, но Гудвин остановил ее легким прикосновением руки. Я уже говорил, что женщины невольно оглядывались, когда он проходил мимо них. Он был из породы викингов, большой, благообразный и добродушно-воинственный. Она была брюнетка, очень гордая, ее щеки то бледнели, то пылали. Я не знаю, брюнетка или блондинка была Ева, но мудрено ли, что яблоко было съедено, если такая женщина обитала в раю?

Этой женщине суждено было сыграть большую роль в жизни Гудвина, но он еще не знал этого; все же какое-то предчувствие у него, очевидно, было, потому что, глядя на нее и вспоминая то, что о ней говорили, он испытал очень горькое чувство.

— Если и произошла здесь ошибка, — сказал Гудвин запальчиво, — то виноваты в этом вы. Я не обвиняю человека, который простился с родиной и честью и скоро должен будет проститься с последним утешением — с украденными деньгами. Во всем виноваты вы. Я теперь понимаю, что привело его к этому. Я понимаю и жалею его. Именно такие женщины, как вы, наполняют наше побережье несчастными, которые принуждены здесь скрываться. Именно из-за таких мужчины забывают свой долг и доходят...

Дама остановила его усталым движением руки.

— Прекратите ваши оскорбления, — холодно сказала она, — я не знаю, о чем вы говорите, я не знаю, какая глупая ошибка привела вас сюда, но если я избавлюсь от вас, показав вам этот саквояж, я принесу его сию же минуту.

Она быстро и бесшумно вошла в соседнюю комнату и вернулась с тяжелым кожаным саквояжем, который и вручила американцу с видом покорного презрения.

Гудвин быстро поставил саквояж на стол и начал отстегивать ремни. Дама стояла подле с выражением бесконечной гадливости и утомления.

Саквояж широко распахнул свою пасть. Когда Гудвин извлек оттуда лежавшее сверху белье, внизу оказались туго перевязанные пачки крупных кредитных билетов государственного банка Соединенных Штатов. Судя по цифрам, написанным на бандеролях, там было никак не меньше ста тысяч.

Гудвин поднял глаза на женщину и увидел с удивлением и странным удовольствием (почему с удовольствием, он и сам не умел бы сказать), что она потрясена непритворно. Глаза ее расширились, у нее захватило дыхание, и она тяжело облокотилась о стол. Значит, она и вправду не знала, что ее спутник ограбил казну. Но почему, с раздражением допытывался Гудвин у себя самого, он так обрадовался, убедившись, что эта бродячая авантюристка-певица совсем не так черна, как ее изображала досужая сплетня?

Шум в соседней комнате заставил их обоих встрепенуться. Дверь широко распахнулась, и в комнату быстро вошел высокий, смуглый, свежесбрированный пожилой человек.

Все портреты президента Мирафлореса изображают его обладателем холеной, роскошной бороды. Но парикмахер Эстебан уже подготовил Гудвина к такой перемене.

Он выбежал из полутемной комнаты отяжелевший от сна, мигая от яркого света лампы.

— Что это значит? — спросил он на чистейшем английском языке, бросив на Гудвина острый взволнованный взгляд. — Воровство?

— Да, воровство, — ответил Гудвин. — Но я вовремя принял меры и не дал этому воровству совершиться. Я действую от имени людей, которым принадлежат эти деньги. Я пришел, чтобы взять эти деньги и вернуть их настоящим владельцам.

Он быстро сунул руку в карман своего просторного полотняного пиджака.

Старик сделал то же движение.

— Не надо! — резко крикнул Гудвин. — Я выну быстрее, и вам будет худо...

Женщина шагнула вперед и положила руку на плечо своего поникшего спутника. Она указала на стол.

— Скажи мне правду... Скажи мне правду... — повторила она тихим голосом. — Кому принадлежат эти деньги?

Тот не ответил. Он испустил очень глубокий вздох, наклонился к женщине, поцеловал ее в лоб, шагнул в соседнюю комнату и плотно закрыл за собою дверь.

Гудвин догадался, в чем дело, и кинулся к двери, но из-за двери раздался выстрел в ту самую минуту, когда он схватился за ручку. Послышалось падение тяжелого тела, и кто-то оттолкнул Гудвина и кинулся к упавшему.

Должно быть, подумал Гудвин, горе, более тяжелое, чем потеря любовника и золота, жило в сердце этой чаровницы, если в такую минуту у нее вырвался крик, с которым бегут к всепрощающей, к лучшей из всех земных утешительниц, если в этой поруганной, Окровавленной комнате она застонала:

— О мама, мама, мама!

Но на улице уже была суматоха. Парикмахер Эстебан при звуке выстрела поднял тревогу. Выстрел и без того всколыхнул половину всего населения. Улица зашумела шагами, в тихом воздухе явственно слышались распоряжения начальства. Гудвину предстояло еще одно дело. Обстоятельства вынудили его стать охранителем богатств, принадлежащих его новой родине. Быстро запихал он деньги назад в саквояж, закрыл его и, высунувшись из окна почти всем корпусом, бросил свою добычу в самую чащу апельсиновых деревьев, что росли в маленьком садике, примыкавшем к отелю.

Вам подробно расскажут в Коралио, чем окончилась эта драма: в Коралио любят беседовать с заезжими людьми. Вам расскажут, как представители закона рысью примчались в отель, услышав тревогу, — Comandantea красных туфлях и куртке, как у метрдотеля, препоясанный шпагой, солдаты с необыкновенно длинными ружьями, офицеры, которых было больше, чем солдат, офицеры, напяливающие на ходу эполеты и золотые аксельбанты, босые полицейские и взбудораженные горожане самых разнообразных цветов и оттенков.

Вам расскажут, что лицо убитого сильно пострадало от выстрела, но что и Гудвин и цирюльник Эстебан, оба засвидетельствовали, что это президент Мирафлорес. На следующее утро по исправленному телеграфному проводу в город стали приходить депеши, и бегство президента стало известно всем. В Сан-Матео оппозиционная партия



без всякого сопротивления захватила скипетр власти, и громкие vivas переменчивой черни быстро изгладили всякий интерес к незадачливому Мирафлоресу.

Вам расскажут, как новое правительство обшарило все города и обыскало дороги в поисках саквояжа, содержащего финансы Анчурии, которые похитил президент. Но все было напрасно. В Коралио сам сеньор Гудвин организовал особый отряд, который прочесал весь город, как женщина расчесывает волосы, но деньги пропали бесследно.

Мертвого похоронили без почестей, на задворках города, у мостика, переброшенного через болото, и за один реал любой мальчишка покажет вам его могилу. Говорят, что та старуха, у которой брился покойный, поставила у него в головах деревянную колоду и выжгла на ней надпись каленым железом.

Вы услышите также, что сеньор Гудвин стойко оберегал донну Изабеллу Гилберт в эти дни волнений и скорби, что ее прошлое перестало смущать его (если только прежде оно его смущало!), что привычки легкомысленной и разгульной жизни изгладились у нее совершенно (если были у нее такие привычки), что Гудвин женился на ней и что они были счастливы.

Американец построил себе дом за городом, на невысоком холме у подножия горы. Дом построен из драгоценного местного дерева, которое само по себе, если вывезти его в иные страны, дало бы человеку состояние, а также из стекла, кирпича, бамбука и местной глины. Вокруг дома раскинулся рай, но такой же рай и в самом доме. Когда местные жители говорят об убранстве дома, они в восторге поднимают руки ввысь. Там полы такие гладкие, как зеркала. Там шелковые индейские ковры и — циновки ручной работы. Там картины, статуи, музыкальные инструменты и — «вы только представьте себе!» — оклеенные обоями стены.

Но никто не скажет вам в Коралио (впоследствии вы сами узнаете это!), что случилось с деньгами, которые Франк Гудвин швырнул в апельсиновую чашу. Об этом мы сейчас не говорим, ибо пальмы зыблются от легкого ветра и зовут нас к приключениям и радостям. V. Еще одна жертва купидона

Соединенные Штаты Америки, порывшись на дровяном складе своих консулов, выбрали мистера Джона де Граффенрида Этвуда из

местечка Дэйлсбург, штат Алабама, в качестве заместителя вышедшего в отставку Уилларда Джедди.

При всем уважении к мистеру Этвуду мы должны отметить, что он сам пламенно жаждал этого назначения. Подобно самоизгнавшемуся Джедди, он был жертвою женской лукавой улыбки, которая погнала и его к презираемым федеральным властям с просьбой дать ему казенное место, дабы он мог уехать далеко-далеко и никогда больше не видеть неверных прекрасных глаз, сгубивших его юную жизнь. Место консула в Коралио, казалось, обещало достаточно отдаленное и романтическое убежище, обещало придать идиллическим сценам дэйлсбургской жизни необходимый элемент драматизма.

В тот период, когда Джонни разыгрывал роль жертвы Купидона, он обогатил, скорбные анналы Испанских морей своими мастерскими манипуляциями на обувном рынке, а также совершил небывалый подвиг — возвел самый презренный и бесполезный плевел своей родины в степень ценного объекта международной торговли.

Все неприятности, как это часто случается, начались с романа, вместо того чтобы окончиться им.

В Дэйлсбурге жил человек по имени Элиджа Гемстеттер, державший лавку бакалейных и мануфактурных товаров. Вся семья его состояла из единственной дочери, которую звали Розина. Это имя вполне вознаграждало ее за неблагозвучную фамилию Гемстеттер. Вышеназванная молодая особа обладала неисчислимыми достоинствами, так что во всей округе сердца молодых людей волновались несказанно. И больше всех волновался Джонни, сын местного судьи Этвуда, который жил в большом и гордом доме на окраине Дэйлсбурга.

Казалось бы, прелестная Розина должна была чувствовать себя очень польщенной, что к ней неравнодушен сам Этвуд. Этвуды еще до войны — и после войны — были весьма уважаемы во всем этом штате. Казалось бы, ей надо радоваться, что она может войти хозяйкой в этот большой и важный, но пустоватый дом. А на деле было не так. На горизонте появилось облако, грозное кучевое облако в образе дюжего и веселого фермера, который позволил себе открыто выступить соперником высокородного Этвуда.

Однажды вечером Джонни задал Розине вопрос, который считается очень серьезным среди юных особей человеческого рода. Все

атрибуты были налицо: луна, олеандры, магнолии, песня дрозда-пересмешника. Встала ли между ними роковая тень Пинкни Доусона, удачливого фермера, нам неизвестно, но ответ Розины был не тот, какого от нее ожидали Мистер Джон де Граффенрид. Этвуд отвесил такой низкий поклон, что его шляпа коснулась травы, и удалился прочь, высоко подняв голову, но чувствуя, что его гербу и сердцу нанесена неизлечимая рана. Какая-то Гемстеттер позволила себе отказать ему, Этвуду. Проклятие!

В том году в Соединенных Штатах среди прочих несчастий был президент-демократ. Судья Этвуд издавна считался боевым конем этой партии Джонни уговорил старика двинуть кое-какие колеса, дабы приискать для него место за границей. Ему хотелось уехать далеко-далеко. Может быть, когда-нибудь Розина поймет, как верно, преданно любил он ее, и уронит слезу в те сливки, которые она будет снимать на завтрак Пинкни Доусону.

Колеса политики скрипнули, повернулись, и Джонни был назначен в Коралио консулом. Перед тем как тронуться в путь, он зашел к Гемстеттерам проститься.

У Розины в тот день почему-то покраснели глаза; и если бы в комнате никого больше не было, может быть. Соединенным Штатам пришлось бы подыскивать другого консула. Но в комнате был, конечно, Пинк Доусон, без умолку говоривший о своем фруктовом саде в четыреста акров, о поле люцерны в три квадратных мили, о пастбище в двести акров. И Джонни на прощание пришлось ограничиться холодным рукопожатием, как будто он уезжал на два дня в Монтгомери. Эти Этвуды, когда хотели, умели держать себя с королевским достоинством.

— Если вам случится, милый Джонни, наткнуться там на выгодное дельце, куда стоило бы вложить капитал, дайте мне, пожалуйста, знать, — сказал Пинк Доусон. — У меня найдется несколько лишних тысяч, чтобы пустить в оборот.

— Отлично, Пинк, — мягко и любезно сказал Джонни. — Если что-нибудь такое подвернется, я с удовольствием дам вам знать.

И вот Джонни уехал в Мобил, откуда и отбыл в Анчурию на «фруктовом» пароходе.

По приезде в Коралио он был весьма поражен непривычными видами природы. Ему было всего двадцать два года от роду Юноши не

носят свое горе, как платье. Это удел пожилых. А у молодых оно перемежается с более острыми ощущениями.

На первых же порах Джонни Этвуд близко сошелся с Кью. Кью повел нового консула по городу и познакомил с горстью американцев, французов и немцев, составлявших иностранный контингент Коралио. Кроме того, ему, конечно, надлежало быть официально представленным местным властям и через переводчика передать свои верительные грамоты. В молодом южанине было что-то, подкупавшее умудренного жизнью Кью. Новый консул держал себя просто, почти ребячливо, но в нем чувствовалась холодная независимость, свойственная более зрелым и опытным Людям. Ни мундиры, ни титулы, ни чиновничья волокита, ни иностранные языки, ни горы, ни море — ничто не отягощало его сознания. Он был наследником всех эпох, он был Этвудом из Дэйлсбурга, и всякий мог прочесть любую мысль, зародившуюся у него в голове.

Джедди явился в консульство, чтобы ввести своего заместителя в обязанности новой службы. Вместе с Кью он попытался заинтересовать нового консула описанием того, какой работы ждет от него правительство.

— Ну и прекрасно, — сказал Джонни из гамака, который он избрал в качестве служебного сидения. — Если потребуется что-нибудь сделать, вы этим и займетесь. Не воображаете же вы, что член демократической партии будет работать, пока он занимает официальный пост?

— Вы бы просмотрели вот эти заголовки, — предложил Джедди, — здесь перечислены все предметы экспорта, в которых вам придется отчитываться. Фрукты разбиты по сортам; потом идут ценные породы дерева, кофе, каучук...

— Этот последний пункт звучит приятно, — перебил его мистер Этвуд, — звучит, как будто его можно растянуть. Я хочу купить новый флаг, мартышку, гитару и бочку ананасов. Как вы думаете, хватит на все это вашего каучука?

— Это всего только статистика, — сказал Джедди, улыбаясь, — а вам нужен отчет о расходах. Тот обычно обладает некоторой эластичностью. Пункт «канцелярские принадлежности» в большинстве случаев не удостоивается особого внимания государственного департамента.

— Мы попусту теряем время, — сказал Кьюу. — Этот человек рожден для дипломатической службы. Он сумел проникнуть в самую суть этого искусства одним взглядом своего орлиного ока. В каждом его слове сквозит истинный административный гений.

— Я не для того занял эту должность, чтобы работать, — лениво объяснил Джонни. — Я хотел уехать в какое-нибудь место, где не говорят о фермах. Ведь здесь их, кажется, нет?

— Таких, к каким вы привыкли, нет, — отвечал эксконсул. — Искусства земледелия здесь не существует. Во всей Анчурии никогда не видели ни плуга, ни жнейки.

— Вот это страна как раз по мне, — пролепетал консул и мгновенно уснул.

Веселый фотограф продолжал дружить с Джонни, несмотря на откровенные обвинения в том, что это якобы вызвано желанием абонировать постоянное кресло в излюбленном убежище — на задней веранде консульства; Но будь то из эгоистических или, напротив, из дружеских побуждений, Кьюу добился этого завидного преимущества. Почти каждый вечер друзья располагались на веранде, подставив лицо морскому ветру, задрав пятки на перила и придвинув поближе сигары и бренди.

Однажды они сидели там, изредка перекидываясь словами, так как беседа их замерла под умиротворяющим влиянием изумительной ночи.

Светила огромная, полная луна, и море было перламутровое. Замолкли почти все звуки, воздух едва шевелился, город лежал усталый, ожидая, чтобы ночь освежила его. На рейде стоял «фруктовщик» «Андадор», пароходной компании «Везувий»; он был уже доверху нагружен и должен был отойти в шесть часов утра. Берег опустел. Луна светила так ярко, что с веранды можно было разглядеть камешки на берегу, поблескивающие там, где на них набегали волны и оставляли их мокрыми. Потом появился крошечный парусник, он медленно шел, не отдаляясь от берега, белокрылый, как большая морская птица. Он шел почти против ветра, отклоняясь то вправо, то влево длинными плавными поворотами напоминавшими изящные движения конькобежца.

Вот он, волей матросов, опять приблизился к берегу, на этот раз почти что напротив консульства, и тут с него долетели какие-то чистые и непонятные звуки, словно эльфы трубили в рог. Да, это мог бы быть

волшебный рожок, нежный, серебристый и неожиданный, вдохновенно играющий знакомую песню «Родина, милая родина».

Сцена была словно нарочно создана для страны лотоса. Ощущение моря и тропиков, тайна, связанная со всяким неведомым парусом, и прелесть далекой музыки над залитой луною водой — все чаровало и баюкало. Джонни Этвуд поддался очарованию и вспомнил Дэйлсбург; но Кьюу, как только у него в голове созрела теория относительно этого непоседливого соло, вскочил с места, подбежал к перилам, и его оглушительный оклик прорезал безмолвие, как пушечный выстрел:

— Меллинджер, э-хой!

Парусник как раз повернул прочь от берега, но с него отчетливо донеслось в ответ:

— Прощай, Билли... е-ду до-мой, прощай!

Парусник шел к «Андадору», Очевидно, какой-то пассажир, получивший разрешение на отъезд в каком-то пункте дальше по побережью, спешил захватить фруктовое судно, пока оно не ушло в обратный рейс. Словно кокетливая горлица, лодочка зигзагами продолжала свой путь, пока, наконец, ее белый парус не растворился на фоне белой громады парохода.

— Это Г. П. Меллинджер, — объяснил Кьюу, снова опускаясь в кресло. — Он возвращается в Нью-Йорк. Он был личным секретарем покойного беглеца-президента этой бакалейно-фруктовой лавочки, которую здесь называют страной. Теперь его работа закончена, и, наверно, он себя не помнит от радости.

— Почему он исчезает под музыку, как Зозо, королева фей? — спросил Джонни. — Просто в знак того, что ему наплевать?

— Звуки, которые вы слышали, исходят из граммофона, — сказал Кьюу. — Это я ему продал. Меллинджер вел здесь игру, единственную в своем роде. Эта музыкальная вертушка однажды выручила его, и с тех пор он с ней не расстается.

— Расскажите, — попросил Джонни, проявляя признаки интереса.

— Я не распространитель повествований, — сказал Кьюу. — Я пользуюсь языком, чтобы говорить; но когда я пробую произнести речь, слова выскакивают из меня, как им вздумается, а когда ударяются об атмосферу, иногда получается смысл, а иногда и нет.

— Расскажите мне, какую он вел игру, — упорствовал Джонни. — Вы не имеете права мне отказывать. Я вам рассказал все решительно,

обо всех жителях Дэйлсбурга без исключения.

— Ладно, расскажу, — сказал Кьюу. — Я только что говорил вам, что инстинкт повествования во мне атрофирован. Не верьте. Это искусство, которое я приобрел наряду со многими другими талантами и науками.

## VI. Игра и граммофон

Так в чем же состояла его проделка? — спросил Джонни, проявляя нетерпение, свойственное широкой публике.

— Сообщить вам это, значит идти против искусства и философии, — спокойно сказал Кью. — Искусство повествования заключается в том, чтобы скрывать от слушателей все, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные не относящиеся к делу предметы. Хороший рассказ — все равно, что горькая пилюля, только сахар у нее не снаружи, а внутри. Я начну, если позволите, с того, как некоему воину из племени Чероки предсказали судьбу, а закончу нравоучительной мелодией на граммофоне.

Мы с Генри Хорсколларом привезли в эту страну первый граммофон. Генри был на четверть индеец Чероки, обучившийся на Востоке футбольному языку, а на Западе — винной контрабанде, и такой же джентльмен, как мы с вами. Характер у него был легкий и резвый; росту он был примерно шести футов и двигался, как резиновая шина. Да, небольшой был человечек, примерно пять футов пять дюймов, либо пять футов одиннадцать. Ну, роста он был, что называется, среднего, не очень большой и не такой уж маленький. Генри один раз вылетел из университета и три раза вылетал из тюрьмы Маскоги — последнее потому, что вывозил из Штатов виски и продавал его, где не положено. Генри Хорсколлар никогда бы не позволил никакой табачной лавочке подобраться к нему и встать у него за спиной. Нет, он был не из этой породы индейцев.<sup>[18]</sup>

Мы с Генри встретились в Тексаркане и разработали наш граммофонный план. У него было триста шестьдесят долларов, вырученных за участок земли в резервации. Я только что прибыл из Литл-Рока, где оказался свидетелем очень прискорбной уличной сцены. Человек стоял на ящике и предлагал желающим золотые часы-футляры на винтиках, заводятся ключиком, очень элегантно. В магазинах они стоили двадцать монет. Здесь их продавали по три доллара, и толпа буквально дралась из-за них. Человек где-то нашел целый чемодан этих часов, и теперь их раскупали у него, как горячие



пирожки. Крышки футляров отвинчивались туго, но люди прикладывали футляры к уху, и там тикало этак приятно и успокаивающе. Трое часов были настоящие; остальные — один обман. А? Ну да, пустые футляры, а в них — такие черные твердые жучки, которые кружат около электрических ламп. Эти самые жучки так искусно отстукивают секунды и минуты, что любо-дорого слушать. Так вот человек, о котором я говорю, выручил двести восемьдесят восемь долларов, а потом уехал, потому что знал, что когда в Литл-Роке настанет время заводить часы, то для этого потребуется энтомолог, а у него была другая специальность.

Так вот я и говорю: у Генри было триста шестьдесят долларов, а у меня двести восемьдесят восемь. Идея ввезти в Южную Америку граммофон принадлежала Генри, но я жадно за нее ухватился, потому что питал пристрастие ко всяким машинам.

— Латинские расы, — говорит Генри, легко изъясняясь при помощи слов, которым его обучили в университете, — особенно склонны к тому, чтобы пасть жертвою граммофона. У них артистический темперамент. Они тянутся к музыке, к ярким краскам, к веселью. Они дают деньги шарманщику и четырехлапому цыпленку на ярмарке, когда за бакалею и за плоды хлебного дерева не плачено уже много месяцев.

— В таком случае, — говорю я, — будем экспортировать латинцам музыкальные консервы. Но я вспоминаю, что мистер Юлий Цезарь в своем отчете о них сказал:

«*Omnia Gallia in tres partes divisa est*»<sup>[19]</sup>, что означает: «Умного галла в три партии не обставишь — вот мой девиз»

Мне очень не хотелось хвастать своей образованностью, но я не мог допустить, чтобы в синтаксисе меня забил какой-то индеец, представитель народа, не давшего нам ничего, кроме той земли, на которой расположены Соединенные Штаты.

Мы купили в Тексаркане отличный граммофон — самой лучшей марки — и целую кучу пластинок. Мы уложили чемоданы и направились поездом в Новый Орлеан. Из этого прославленного центра паточной промышленности и непристойных негритянских песенок мы отплыли на пароходе в Южную Америку.

Мы высадились в Солитасе, в сорока милях отсюда. Местечко на вид вполне сносное. Домишки были чистые, белые, и, глядя, как они

воткнуты в окрестный пейзаж, я невольно вспоминал салат с крутыми яйцами. На окраине расположился квартал небоскребных гор; вели они себя тихо, словно подползли сзади и следят, что делается в городе. А море говорило берегу «шш-ш». Изредка в песок плюхался спелый кокосовый орех; вот и все. Да, тихий был городок. Я так думаю: когда Гавриил кончит трубить в рог и вагончик тронется — представляете картину, — Филадельфия цепляется за ремень, Пайн-Галли, штат Арканзас, повисла на задней площадке, — только тогда этот самый Солитас проснется и спросит, не говорил ли кто чего.

Капитан сошел с нами на берег и предложил возглавить то, что ему угодно было назвать похоронной процессией. Он представил нас с Генри консулу Соединенных Штатов и еще одному пегому начальнику какого-то там Меркантильного департамента.

— Я опять загляну сюда через неделю, — сказал капитан.

— К тому времени, — отвечали мы ему, — мы будем наживать сказочное состояние с помощью нашей гальванизированной примадонны и точных копий оркестра Сузы, извлекающего марши из залежей олова.

— Ничего подобного, — говорил капитан. — К тому времени вы будете загипнотизированы. Любой джентльмен из публики, который пожелает подняться на сцену и посмотреть в глаза этой стране, проникнется убеждением, что он не более как муха в стерилизованных сливках. Вы будете стоять по колено в море и ждать меня, а ваша машинка для изготовления гамбургских бифштексов из дотоле почтенного искусства музыки будет играть: «Ах, родина, что может с ней сравниться!»

Генри снял со своей пачки верхнюю двадцатку и получил от Меркантильного бюро бумагу с красной печатью и какой-то басней на туземном языке, а сдачи не получил.

Потом мы накачали консула красным вином и попросили его предсказать нам будущее. Человек он был тощий, вроде как молодой, лет за пятьдесят, по вкусам — помесь француза с ирландцем, сплошная тоска. Да, этакий приплюснутый человек, которому и вино не шло впрок, и склонный к тучности и меланхолии. Да, ну, понимаете, этакий голландец, очень печальный и жизнерадостный.

— Поразительное изобретение, именуемое граммофоном, — говорит он, — еще никогда не вторгалось в эти края. Здешний народ

никогда его не слышал. А если услышит, не поверит, Это простодушные дети природы. Прогресс еще не научил их принимать работу открывателя консервных жестянок за увертюру, а рэгтайм способен вдохновить их на кровавый мятеж. Но почему не попробовать? Лучшее, что может с вами случиться, когда вы начнете играть, — население просто не проснется. Они, — говорит консул, — могут принять это двояко. Либо они опьянеют от внимания, как плантатор из южных штатов при звуках марша «Шагая по Джорджии», либо рассердятся и перенесут мелодию в другой ключ топором, а вас — в каземат. Если случится последнее, — продолжает консул, — я исполню свой долг: пошлю каблогранму в государственный департамент, накрою вас звездным флагом, когда вас расстреляют, и пригрожу им отмщением самой великой, твердовалютной и золотозапасной державы в мире. Мой флаг и так уже весь продырявлен пулями, — говорит консул, — все результат подобных же инцидентов. Уж два раза, — говорит консул, — я телеграфировал правительству с просьбой выслать мне пару канонерок для защиты американских граждан. Один раз департамент прислал мне двух канареек. В другой раз, когда здесь должны были казнить человека по фамилии Томат и я возбудил вопрос о помиловании, они направили мою депешу в департамент земледелия. А теперь не будет ли добр сеньор, что стоит за стойкой, выдать нам новую бутылку красного вина?

Вот какой монолог преподнес мне и Генри Хорсколлару консул в Солитасе.

Но мы, несмотря на это, в тот же день сняли комнату на Калье де лос Анхелес, главной улице, идущей вдоль морского берега, и водворились там со своими чемоданами. Комната была большая, этакая темная и веселенькая, только маленькая. Помещалась она на не бог знает какой улице, которой придавали некоторое разнообразие дома и оранжерейные растения. Городские поселяне проходили мимо окон, по прекрасному пастбищу между тротурами. Больше всего они напоминали оперный хор, когда на сцене вот-вот должен появиться шах Кафузлум.

Мы стирали со своей машины пыль, готовясь приступить к работе на следующий день, когда высокий, красивый белый человек в белом костюме остановился у нашей двери и заглянул в комнату. Мы сказали, что требовалось по части приглашений, и он вошел и оглядел нас с ног

до головы. Он жевал длинную сигару и щурил глаза этак задумчиво, как девушка, когда она старается решить, какое платье лучше надеть на вечеринку.

— Нью-Йорк? — говорит он, наконец, обращаясь ко мне.

— Первоначально и время от времени, — говорю я. — Неужели еще не стерся?

— Понять нетрудно, кто умеет, — говорит он. — Все дело в покрое жилета. Правильно скроить жилет не умеют больше нигде. Пиджак — может быть, но жилет — никогда.

Потом этот белый человек смотрит на Генри Хорсколлара и колеблется.

— Индеец, — говорит Генри, — ручной индеец.

— Меллинджер, — говорит белый, — Гомер П. Меллинджер. Ну, друзья, вы конфискованы. Вы тут младенцы в темном лесу, и нет у вас ни няньки, ни арбитра, и моя обязанность позаботиться о вашем движении вперед. Я выбью подпорки и спущу вас, как на колесиках, на прозрачные воды этой тропической лужи. Придется вас окрестить, и, если вы пойдете со мной, я по всем правилам раздавлю у вас на носовой части бутылочку вина.

Ну вот, целых два дня после того мы были гостями Гомера П. Меллинджера. Этот человек знал свое дело. Не подкопаешься Он был самый настоящий Кафузлум. Мы с ним и с Генри Хорскрлларом взялись под ручки и стали повсюду таскать наш граммофон и всячески развлекаться. Где бы нам ни попалась открытая дверь, мы входили и заводили машинку, и Меллинджер предлагал публике обратить внимание на хитрую музыку и на его закадычных друзей, Senors Amencanos. Оперный хор проникся к нам уважением и ходил за нами по пятам из дома в дом. После каждой пластинки появлялся новый сорт выпивки Местные жители обладают очень приятным талантом по части одного напитка, который так и врезается в память. Они отрубают конец у незрелого кокосового ореха, а в сок наливают французского коньяку и прочие ингредиенты. Мы пили и это и еще много чего.

Наши с Генри деньги хождения не имели. За все платил Гомер П. Меллинджер. Этот человек умел извлекать пачки банкнот из таких мест на своей особе, где сам Герман Чародей, великий фокусник, не обнаружил бы ни кролика, ни яичницы. Он мог бы основать два-три университета и собрать коллекцию орхидей, и у него осталось бы

достаточно денег, чтобы скупить голоса всего цветного населения страны. Мы с Генри все гадали, в чем секрет его незаконных богатств. Как-то вечером он просветил нас.

— Ребята, — сказал он, — я вас обманывал. Вы думаете, я — праздный мотылек; на самом же деле никто здесь не работает больше моего. Десять лет назад я пристал к этим берегам, два года назад я стал первым человеком в стране. Да, я в любую минуту могу направить дела этой пряничной республики, как мне захочется. Я доверяюсь вам, потому что вы — мои соотечественники и мои гости, хоть и наводнили мою приемную родину худшей из всех шумовых систем, когда-либо положенных на музыку.

Я занимаю пост личного секретаря при президенте республики, и мои обязанности состоят в том, чтобы управлять ею. Мое имя не фигурирует в официальных документах, а между тем я — горчица в приправе к салату. Все законы, которые проходят через Конгресс, все концессии, на которые мы даем разрешение, все ввозные пошлины, которые мы взимаем, — все это стряпня Г. П. Меллинджера. В парадной приемной я наливаю чернила в чернильницу президента и обыскиваю приезжих чиновников на предмет кортиков и динамита, но в задней комнате я диктую всю политику правительства. Вам никогда в жизни не отгадать, какая махинация помогла мне так возвыситься. Такими махинациями, кажется, еще никто не занимался. Вот послушайте. Помните заголовки в наших школьных тетрадях: «Честность — лучшая политика»? В этом все и дело. Я возвел честность в азартную игру. Я — единственный честный человек в республике. Правительство это знает; народ это знает; темные элементы это знают; иностранцы-концессионеры это знают. Я заставляю правительство держать слово. Если человеку обещано место, он получает его. Если иностранный капитал покупает концессию, ему дают то, что ему нужно. У меня здесь монополия на честные сделки. Конкуренции никакой. Вздумай полковник Диоген явиться сюда со своим фонарем, ему моментально сказали бы мой адрес. Денег это дает не ахти сколько, но заработок верный, и ночью спишь спокойно.

Так сказал Г. П. Меллинджер нам с Генри. А позднее он разрешился следующим замечанием:

— Ребята, сегодня вечером я устраиваю суарэ<sup>[20]</sup> для целой кучи видных граждан, и мне нужна ваша помощь. Вы притащите свою музыкальную щелкушку для орехов, и получится как будто светский прием. Предстоят важные дела, но нельзя показывать виду. С вами я могу говорить откровенно. Я уже много лет страдаю оттого, что некому душу излить, не перед кем похвастаться. Иногда меня одолевает тоска по родине, и тогда, кажется, я отдал бы все свои доходы и привилегии, только бы посидеть где-нибудь на Тридцать четвертой улице, да съесть сэндвич с икрой, да запить пивом, а то просто стоять и смотреть на трамваи и вдыхать запах жареных орешков из фруктовой лавчонки старика Джузеппе.

— Да, — говорю я, — очень неплохая икра бывает в кафе Билли Ренфро, на углу Тридцать четвертой и...

— Истинная правда, — перебивает меня Меллинджер, — и если бы вы мне сказали, что знаете Билли Ренфро, чего только я не выдумал бы, чтобы доставить вам счастье. Мы с Билли были приятелями в Нью-Йорке. Вот человек, который ни разу не покривил душой. Я тут сделал из честности бизнес, а он так даже теряет на ней деньги. *Saramba!*<sup>[21]</sup> И приедается же мне иногда эта страна! Здесь все продажно. От высшего сановника до последнего батрака на кофейных плантациях все только и думают, как бы потопить друг друга и содрать шкуру со своих друзей. Если погонщик мулов снимает шляпу, здороваясь с чиновником, тот уже воображает себя народным кумиром и готовится устроить революцию и свергнуть существующую власть. В мелкие обязанности личного секретаря входит вынюхивать такие революции и не давать им вспыхивать и портить государственное добро. С этой-то целью я и нахожусь сейчас здесь, в этом заплесневелом приморском городишке. Здешний губернатор и его банда готовят восстание. Имена заговорщиков мне известны, и все они приглашены на сегодняшней вечер к Г. П. М. послушать граммофон. Таким образом, я их сгоню в одно место, а дальше все у нас пойдет по программе.

Мы сидели втроем за столиком в харчевне Всех Святых. Меллинджер подливал нам вина, и вид у него был озабоченный; я думал о своем.

— Плуты они ужасные, — говорит он вроде как тревожно. — Их финансирует один каучуковый синдикат, и они доверху нагружены

деньгами для взяток. Осточертела мне вся эта оперетка, — продолжает Меллинджер. — Хочется вспомнить, как пахнет в Нью-Йорке Восточная река, и надеть подтяжки. Порой так и подмывает бросить эту должность, но черт меня подери — горжусь я ею, хоть это и глупо. «Вот идет Меллинджер, — говорят в здешних местах. — Por Dios!<sup>[22]</sup> Он не клюнет и на миллион». Хотел бы я увезти этот отзыв в Нью-Йорк и показать его как-нибудь Билли Ренфро; и это поддерживает меня всякий раз, как я вижу какое-нибудь жирное животное, которое я с легкостью мог бы скрутить — стоило бы только мигнуть глазом и... отказаться от своей игры. Да, черт возьми, ко мне не подъедешь. Они это знают. Те деньги, которые попадают мне в руки, я зарабатываю честным путем и тут же трачу. Когда-нибудь наживу состояние и поеду домой к Билли есть икру. Сегодня я покажу вам, как обращаться с этими ворами и взяточниками. Я покажу им, что такое Меллинджер, личный секретарь, когда его подают без гарнира и соуса.

И тут у Меллинджера начинают трястись руки, и он разбивает стакан о горлышко бутылки.

Я сразу подумал: «Ну, мой милый, если я не ошибаюсь, кто-то положил вкусную наживку в такое место, где тебе ее видно уголком глаза».

В тот вечер мы с Генри, как и было условлено, притащили свой граммофон в какой-то глинобитный дом на грязной узенькой улочке, по колена заросшей травой. Комната, куда нас провели, была длинная, освещенная вонючими керосиновыми лампами. В ней было много стульев, а в одном конце стоял стол. На него мы поставили граммофон. Меллинджер пришел еще раньше нас; он шагал по комнате совсем расстроенный, все жевал сигары, выплевывал их и кусал ноготь на большом пальце левой руки.

Скоро начали собираться приглашенные на концерт — они приходили двойками, тройками и целыми мастями. Кожа у них была самых разнообразных цветов — от необкуреной пенковой трубки до начищенных лакированных туфель. Вежливы были необычайно — их так и распирало от счастья приветствовать сеньора Меллинджера. Я понимал, что они там лопотали по-испански, — я два года работал у насоса в мексиканском серебряном руднике и все помнил, — но тут я и виду не подал.

Собралось их человек пятьдесят, и все расселись, когда в комнату вплыл сам пчелиный король, губернатор. Меллинджер встретил его у дверей и проводил на трибуну. Когда я увидел этого латинца, я понял, что ждать больше некого. Это был огромный, рыхлый дядя калошного цвета, с глазами, как у главного лакея в гостинице.

Меллинджер без запинки объяснил на кастильском наречии, что душа его изнывает от восторга, потому что он имеет возможность показать своим уважаемым друзьям величайшее изобретение Америки, чудо нашего века. Генри понял намек и поставил шикарную пластинку — духовой оркестр, — и праздник, можно сказать, начался. Этот губернатор немножко кумекал по-английски, и, когда музыка захрипела и кончилась, он и говорит:

— Оч-чень красиво. Gr-r-r-r-gracias<sup>[23]</sup> американским джентльменам за такую прекрасную музыку играть.

Стол был длинный, и мы с Генри сидели на одном его конце, у стены. Губернатор сидел на другом конце. Гомер П. Меллинджер стоял сбоку. Я только что подумал, как же Меллинджер возьмется за дело, как вдруг доморощенный талант сам открыл заседание.

Этот губернатор был создан для восстаний и всякой политики. Опрометчивый был человек: ничего не делал, не подумав. Да, он был полон выжидательности и всяких сюрпризов. Он положил руки на стол, а лицо обратил к секретарю.

— Что, сеньоры американцы понимают испанский язык? — спрашивает он по-своему.

— Нет, не понимают, — говорит Меллинджер.

— Ну так слушайте, — быстро продолжает латинец. — Музыка-это, конечно, очень мило, но не обязательно. Поговорим о деле. Я отлично понимаю, зачем меня пригласили, раз я вижу здесь моих соотечественников. Вчера, сеньор Меллинджер, вам шепнули кое-что о наших предложениях. Сегодня мы будем говорить начистоту. Мы знаем, что президент благоволит к вам, и знаем, каким вы пользуетесь влиянием. Правительство скоро падет. Мы сумели оценить вас. Мы так дорожим вашей дружбой и вашей помощью, что... — Меллинджер поднимает руку, но губернатор затыкает ему рот. — Не говорите ничего, пока я не кончу.

Потом этот губернатор вытаскивает из кармана завернутый в бумагу пакет и кладет его на стол, около руки Меллинджера.



— Вы найдете здесь пятьдесят тысяч долларов американскими деньгами. Вы бессильны против нас, но, служа нам, вы можете отработать их. Возвращайтесь в столицу и выполняйте наши распоряжения. Возьмите эти деньги. Мы вам доверяем. В пакете вы найдете бумагу с подробным изложением того, что вы должны будете для нас сделать. Будьте благоразумны и не отказывайтесь.

«Губернатор замолчал и устремил на Меллинджера взгляд, полный всяких экспрессии и наблюдений. Я посмотрел на Меллинджера и порадовался, что Билли Ренфро не видит его в эту минуту. Пот выступил у того на лбу, он стоял, точно онемев и постукивая пальцами по пакету. Эта черно-пегая банда подкапывалась под его махинации. Ему нужно было только изменить свои политические взгляды и сунуть пятерню во внутренний карман.

Генри шепчет мне на ухо, просит разъяснить, почему такой перерыв в программе. Я шепчу в ответ: «Г. П. предлагают взятку сенаторских размеров, эти черные совсем сбили его с толку»; Я увидел, что рука Меллинджера пододвигается к пакету. «Он сдаётся», — шепнул я Генри. «Мы ему напомним, — говорит Генри, — жареные орешки на Тридцать четвертой улице в Нью-Йорке».

Генри нагнулся, достал из корзины, которую мы принесли с собой, одну пластинку, поставил ее и пустил граммофон. Это было соло на корнете, очень чистенькое и красивое, называлось оно «Родина, милая, родина». Из полусотни человек, сидевших в комнате, ни один не шелохнулся, пока пластинка вертелась, а губернатор все время в упор смотрел на Меллинджера. Я видел, как голова Меллинджера поднималась все выше, а рука отползала от пакета. Пока не прозвучала, последняя нота, никто не сдвинулся с места. А когда стало тихо, Гомер П. Меллинджер взял пачку денег и швырнул ее в лицо губернатору.

— Вот вам мой ответ, — говорит Меллинджер, личный секретарь, — а утром будет второй. У меня есть доказательства, что все вы, до последнего, в заговоре против правительства. Спектакль окончен, джентльмены.

— Нет, осталось еще одно действие, — перебивает его губернатор. — Насколько мне известно, вы находитесь в услужении у президента — переписываете письма и открываете дверь, когда стучат.

Я здесь губернатор. Сеньоры, призываю вас во имя нашего общего дела: хватайте этого человека.

Буро-серая шайка заговорщиков отодвинула стулья и повела наступление крупными силами. Я понял, что Меллинджер сделал промах, собрав всех своих врагов вместе, чтобы изобразить эффектную сцену. Я-то лично считаю, что он допустил целых два промаха, отказавшись от денег, но на этом останавливаться не стоит, так как наши с Меллинджером представления о честной игре не совпадают с точки зрения оценки и взглядов.

В комнате было только одно окно и одна дверь, и были они в дальнем конце. И вот, представьте себе, полсотни латинцев объявляют обструкцию против законодательства Меллинджера. Нас, можно сказать, было трое, так как мы с Генри одновременно заявили, что Нью-Йорк и племя Чероки встают на сторону слабейшего.

И тут Генри Хорсколлар высказался к беспорядку дня и вмешался, наглядно продемонстрировав преимущества американского воспитания в применении к природным способностям и врожденной культурности индейца. Он встал и обеими руками пригладил волосы, как девочка, когда садится за рояль.

— Станьте за мной, вы оба, — говорит Генри.

— Что будем делать, начальник? — спросил я.

— Я буду играть центра, — говорит Генри на своем футбольном наречии. — У них во всей команде нет ни одного приличного игрока. Не отставайте от меня, и больше жизни.

Потом этот культурный краснокожий изобразил своим ртом систему звуков, от которых вся латинская сходка застыла на месте в задумчивости и смятении. Его прокламация в общем сводилась к некоему сочетанию боевого клича Карлайльского колледжа с университетским припевом племени Чероки. Он ударил по шоколадной команде, как горошина из детского пугача. Правым локтем он уложил губернатора на поле и расчистил сквозь всю толпу проход такой широкий, что женщина могла бы пронести по нему лестницу и никого не задеть. Нам с Меллинджером оставалось только следовать за ним.

Нам потребовалось ровно три минуты на то, чтобы добраться до штаба, где Меллинджер распорядился, как у себя дома. Полковник и батальон босоногой пехоты вышли на улицу и проследовали с нами до

места концерта, но заговорщики уже успели смыться. Зато мы вновь обрели граммофон и с этим трофеем зашагали обратно к казармам, — поставив в дорогу пластинку «А все-таки наша взяла».

На следующий день Меллинджер отводит нас с Генри в сторонку и начинает швыряться десятками и двадцатками.

— Я хочу купить ваш граммофон, — говорит он. — Мне понравился последний мотивчик, который он играл на моем вечере.

— Тут больше денег, чем за него заплачено, — говорю я.

— Это из государственных средств, — говорит Меллинджер. — Платит правительство, и платит дешево.

Это мы с Генри хорошо знали. Мы знали, что граммофон спас Гомера П. Меллинджера, когда он чуть не проиграл свою партию, но мы не сказали ему, что знаем.

— А теперь, друзья, отправляйтесь-ка вы куда-нибудь дальше по берегу, — говорит Меллинджер, — и помалкивайте, пока я не засажу этих молодцов за решетку. Иначе вы рискуете нарваться на неприятности. И если вам раньше меня случится увидеть Билли Ренфро, скажите ему, что я вернусь в Нью-Йорк, как только разбогатею... но честным путем.

Мы с Генри притаились и не показывались дет того дня, когда вернулся наш пароход. Увидев, что капитан пристал в шлюпке к берегу, мы вошли в воду и стали ждать. Капитан так и расплылся, когда нас увидел.

— Я же вам говорил, что вы будете ждать, — сказал он. — А где гамбургская машинка?

— Она остается здесь, — говорю я, — будет играть «Родина, милая родина».

— Я же вам говорил, — повторяет капитан. — Ну, лезьте в лодку.

— И вот каким образом, — сказал Кьюу, — мы с Генри Хорсколларом ввезли в эту страну граммофон. Генри вернулся в Штаты, а я с тех пор так и застрял в тропиках. Говорят, Меллинджер после того случая шагу не ступил без граммофона. Наверно, он напоминал ему кое-что всякий раз, как сладкогласная сирена взяточников манила его, помахивая у него перед носом зелененькими.

— А теперь, вероятно, он везет его домой как сувенир, — заметил консул.

— Какой там сувенир, — сказал Кью. — В Нью-Йорке ему их понадобится целых два, и чтоб играли круглые сутки.

## VII. Денежная лихорадка

С энтузиазмом взялось новое правительство Анчурии осуществлять свои права и выполнять обязанности. Первым долгом оно послало в Коралию своего представителя с поручением разыскать во что бы то ни стало казенные деньги, похищенные злосчастным Мирафлоресом.

Полковник Эмилио Фалькон, личный секретарь нового президента Лосады, был командирован по этому важному делу в Коралию.

Быть личным секретарем у тропического президента нелегко. Нужно быть и дипломатом, и шпионом, и деспотом, и телохранителем своего господина. Нужно ежеминутно внюхиваться, не пахнет ли где революцией. Часто президент — только ширма, а подлинный хозяин страны — секретарь. Мудрено ли, что, когда президенту приходится выбирать секретаря, он выбирает его куда осторожнее, чем спутницу жизни.

Полковник Фалькон, человек изящный, обходительный, тонкий, с деликатными манерами, истый кастилец, приехал в Коралию искать пропавшие деньги по холодным следам. Здесь он совещался с военными властями, которые уже получили приказ всячески содействовать ему в его поисках.

Он устроил себе главную квартиру в одной из комнат Casa Mogena. Здесь около недели велось неофициальное судебное следствие, сюда были приглашены те кто своими показаниями мог осветить финансовую трагедию, которая сопровождала другую трагедию, помельче — смерть президента.

Двое или трое из допрошенных — и среди них цирюльник Эстебан — показали, что самоубийца был действительно президент Мирафлорес.

— Конечно, — говорил Эстебан всемогущему секретарю, — это был он, президент. Подумайте: можно ли брить человека и не видеть его лица? Он позвал меня для бритья к себе в хижину. У него была борода, черная и очень густая. Вы спрашиваете, видел ли я президента до той поры? Почему бы и нет? Я видел его один раз. Он ехал с парохода в Солитас в карете. Когда я побрил его, он дал мне золотую

монету и просил не говорить никому. Но я — либерал, я — преданный друг моей родины, и я сейчас же рассказал обо всем сеньору Гудвину.

— Мы знаем, — вкрадчиво сказал полковник Фалькон, — что покойный президент имел при себе кожаный саквояж, содержащий большую сумму денег. Видели ли вы этот саквояж?

— De veras<sup>[24]</sup>, нет! — отвечал Эстебан. — Свет в хижине был тусклый: маленькая лампочка, при которой даже брить было трудно. Может быть, и был саквояж, но, по совести, я его не видал. Нет. Была также в комнате молодая дама, сеньорита большой красоты — это я мог заметить даже при маленьком свете. Но деньги, сеньор, или саквояж — нет, я этого не видал.

Comandante и другие офицеры показали, что их разбудил и поднял на ноги звук выстрела в отеле де лос Эстранхерос. Поспешив, чтобы спасти честь и спокойствие республики, они увидели человека, лежащего на полу без признаков жизни с зажатым в руке револьвером. Возле него была молодая женщина, горько рыдавшая. Сеньор Гудвин также находился в этой комнате. Но никакого саквояжа они не увидели.

Мадама Тимотеа Ортис, владелица отеля, где была сыграна «Лисана-рассвете», рассказала, как в ее отеле остановились два гостя.

— В мой дом они пришли, — сказала она, — сеньор, не совсем старый, и сеньорита, довольно хорошенькая. Они не пожелали ни есть, ни пить, отказались даже от моего aguardiente, который у меня самого первого сорта? В свои комнаты они поднялись — в numero nueve и numero diez<sup>[25]</sup>. Вскоре пришел сеньор Гудвин, который поднялся к ним, чтобы поговорить о делах. Потом я услышала страшный шум, вроде выстрела из пушки, и мне сказали что pobre Presidente<sup>[26]</sup> застрелился. Esta bueno. Никаких денег я не видала, а также не видала той вещи, которую вы называете саквояж.

Полковник Фалькон скоро пришел к вполне логичному заключению, что если кто из жителей Коралио может дать ему путеводную нить для отыскания денег, так это, несомненно, Франк Гудвин. Но с американцем мудрый секретарь повел другую политику. Гудвин был мощной опорой для новых властей, с Гудвином нужно было обращаться деликатно и бережно: нельзя было набрасывать тень ни на его храбрость, ни на его порядочность. Даже личный секретарь президента, и тот не осмеливался призвать к допросу этого каучукового принца и бананового барона, словно рядового обывателя.

Поэтому он отправил Гудвину в высшей степени цветистое послание, где мед так и капал со всех словесных лепестков, и просил Гудвина осчастливить его: назначить ему свидание. В ответ на это Гудвин пригласил его к себе отобедать.

За час до обеда американец отправился в Casa Morena и дружески-задушевно приветствовал гостя. Потом, когда наступила прохлада, они оба пошли потихоньку за город, в дом Гудвина.

Американец извинился и оставил полковника в просторной, прохладной, хорошо занавешенной комнате, где паркет был составлен из брусков такого гладкого дерева, что ему позавидовал бы любой миллионер в Соединенных Штатах Гудвин пересек внутренний дворик, искусно затененный навесами и растениями, и прошел в противоположное крыло дома, в большую комнату, выходящую окнами на море. Широкие жалюзи были открыты, в комнату врвался ветерок с океана — невидимый источник прохлады и здоровья. Жена Гудвина сидела у окна и писала акварелью предвечерний морской вид.

Вот женщина, которая казалась счастливой. И даже больше — она казалась довольной. Если бы какой-нибудь поэт захотел изобразить ее с помощью сравнений, он сравнил бы ее серые, чистые, большие глаза, обведенные яркой белоснежной каймой, с цветами вьюнка. Он не нашел бы в ней ни малейшего сходства с богинями, традиционные черты которых сделались холодно-классическими. Нет, ее красота была не олимпийская, но эдемская. Вообразите себе Еву, которая после изгнания из рая зажгла страстью влюбчивых воинов и мирно и кротко возвращается в рай; не богиня, но женщина, в полной гармонии с окрестным эдемом.

Когда ее муж вошел в комнату, она подняла глаза и губы у нее полуоткрылись; веки задрожали, как (да простит нас Поэзия!) хвостик у верной собаки, и вся она затрепетала, как плакучая ива под еле заметным дуновением ветра. Так она всегда встречала мужа, как бы часто они ни видались. Если бы те, кто порою за стаканом вина вспоминали старые забавные истории о сумасбродной карьере Изабеллы Гилберт, видели сегодня вечером жену Франка Гудвина в мирном ореоле счастливой семейной жизни, они либо стали бы отрицать, либо согласились бы забыть навеки эти живописные события из биографии той, ради кого покойный Мирафлорес пожертвовал и родиной и добрым именем.

— Я привел к обеду гостя, — сказал Гудвин, — некий Фалькон из Сан-Матео, полковник. Он здесь по казенному делу. Едва ли тебе хочется видеть его, и потому я прописал тебе спасительную женскую мигрень.

— Он пришел расспросить тебя о пропавших деньгах, не правда ли? — спросила миссис Гудвин, снова принимаясь за этюд.

— Ты угадала, — ответил Гудвин. — Он уже три дня, как занимается инквизицией среди туземцев. Теперь дошло дело до меня, но так как он боится призывать к суду и расправе подданного дяди Сэма, он решил превратиться из судьи в визитера и допрашивать меня за обедом. Он будет терзать меня пытками за моим собственным вином и десертом.

— Нашел ли он кого-нибудь, кто бы видел этот саквояж с деньгами?

— Никого. Даже мадама Ортис, у которой такой зоркий глаз на сборщиков налогов, и та не помнит, что у него был багаж.

Миссис Гудвин положила кисть и вздохнула.

— Мне так совестно, Франк, — сказала она, — что из-за этих денег у тебя столько хлопот. Но ведь мы не можем сказать правду, не так ли?

— Еще бы, — сказал Гудвин и передернул плечом, как делали здешние жители, у которых он и перенял этот жест, — это было бы совсем не умно. Хотя я и американец, они живо упрятали бы меня в *calabozo*<sup>[27]</sup>, если бы узнали, что этот саквояж присвоен нами. Нет, мы должны заявить, что знаем обо всем этом деле не больше, чем все остальные невежды в Коралио.

— А не думаешь ли ты, что этот человек подозревает тебя в присвоении денег? — спросила она, сдвинув брови.

— Я бы ему не советовал! — небрежно отвечал Гудвин. — Хорошо, что никто, кроме меня, не видал саквояжа. Так как во время выстрела в комнате был только я, то, естественно, власти с особым вниманием захотят исследовать мою роль в этом деле. Но беспокоиться нечего. Этот полковник отлично покушает и на закуску получит порцию американского блефа. Тем все дело и кончится.

Миссис Гудвин встала и подошла к окну. Гудвин последовал за нею, и она прислонилась к нему, как бы ища у него поддержки и защиты, как всегда с той мрачной ночи, когда он впервые стал ее защитником перед людьми. Так они постояли некоторое время.



Прямо перед ними в гуще тропических листьев, ветвей и лиан была прорублена просека, кончавшаяся у заросшего деревьями болота на окраине Коралио. У другого конца этого воздушного туннеля им была видна могила, украшенная деревянной колодой, на которой было начертано имя несчастного президента Мирафлореса.

В дождливую погоду миссис Гудвин смотрела на могилу из этого окна, а когда небеса улыбались, она выходила в тенистые зеленые рощи, разведенные на плодородных холмах ее сада, и тоже не спускала глаз с могилы; на лице у нее появлялось тогда выражение нежной печали, которая теперь, впрочем, уже не могла омрачить ее счастье.

— Я так любила его. Франк, — сказала она, — я любила его даже после этого страшного бегства, которое кончилось такой катастрофой. И ты был так добр ко мне и сделал меня такой счастливой. Но все запуталось, все стало неразрешимой загадкой. Если дознаются, что мы взяли эти деньги себе, как ты думаешь, у тебя не потребуют, чтобы ты возместил эту сумму?

— Без сомнения, потребуют, — отозвался Гудвин. — Ты права, это действительно загадка. И пусть она останется загадкой для Фалькона и его соплеменников до тех пор, пока отгадка не придет сама собой. Мы с тобой знаем в этом деле больше всех, но и мы не знаем всего. Боже нас упаси обмолвиться об этих деньгах хотя бы намеком. Пусть люди думают, что президент припрятал их в горах по дороге или что ему удалось переправить их куда-нибудь прежде, чем он прибыл в Коралио. Вряд ли этот Фалькон подозревает меня. Он делает то, что ему приказано, ведет следствие очень ретиво, но он не найдет ничего.

Такова была их беседа. Если бы кто посмотрел на их лица в то время, как они совещались о погибших финансах Анчурии, всякого поразила бы вторая загадка, ибо и на лицах и на всей повадке супругов лежал отпечаток саксонской гордости, честности, благороднейших мыслей. Спокойные глаза Гудвина, выразительные черты его лица, воплощение бесстрашной, справедливой, доброй души совершенно не вязались с его словами.

Что же касается его жены, то одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы не поверить обличающей их беседе. Благородства была исполнена вся ее поза; невинность сквозила в глазах. Ее ласковая преданность даже не напоминала то чувство, которое порой толкает женщину в порыве великодушной любви разделить вину своего

возлюбленного. Нет, здесь было что-то неладно, уж очень разные картины представились бы глазу и слуху.

Обед был сервирован для Гудвина и его гостя в *ratio*<sup>[28]</sup>, под прохладной тенью листвы и цветов. Американец извинился перед именитым секретарем: миссис Гудвин никак не могла выйти к обеду, так как у нее от легкой *calentura*<sup>[29]</sup> болит голова.

После обеда они, согласно обычаю, еще посидели за кофе и сигарами. Полковник Фалькон с истинно кастильской деликатностью ждал, чтобы хозяин сам заговорил о том деле, ради которого они сегодня встретились. Ждать ему пришлось недолго. Едва появились сигары, американец первый коснулся этой темы — он спросил у секретаря, удалось ли ему набрести на след пропавших денег.

— Увы, — признался полковник Фалькон, — я еще не нашел ни одного человека, который хотя бы видел у президента саквояж или деньги. Но я не теряю надежды. В столице твердо установлено, что президент Мирафлорес выехал из Сан-Матео, имея при себе сто тысяч долларов, принадлежащих правительству, и в сопровождении сеньориты Изабеллы Гилберт, оперной певицы. Наше правительство не может допустить и мысли, — заключил полковник с улыбкой, — что вкус нашего покойного президента позволил бы ему расстаться по дороге с той или с другой из этих двух драгоценностей, усложнявших его бегство.

— Вероятно, вы желали бы узнать от меня все, что мне известно по этому делу, — сказал Гудвин, прямо подходя к самой сути. — Мое показание будет короткое. В тот вечер я вместе с другими друзьями стоял на страже, поджидая президента, так как о его бегстве я был извещен шифрованной телеграммой Энглхарта, одного из наших агентов в столице. Около десяти я увидел мужчину и женщину, которые очень быстро шли по улице. Они подошли к отелю де лос Эстранхерос и сняли там комнаты. Я последовал за ними на верхний этаж, оставив Эстебана вместо себя на улице. Эстебан только что рассказал мне, что он в тот вечер сбрил президенту бороду, так что я не был удивлен, когда увидел его гладко выбритое лицо. Когда я обратился к нему от лица народа с требованием возвратить народное добро, он вынул револьвер и застрелился. Через несколько минут на месте происшествия уже толпились офицеры и многие местные жители. Все дальнейшее вам, несомненно, известно.

Гудвин замолчал. Посланец Лосады тоже не произнес ни слова, как бы показывая, что ждет продолжения.

— И теперь, — продолжал американец, глядя прямо в глаза собеседнику и произнося каждое слово с особым ударением, — пожалуйста, запомните то, что я вам сейчас скажу. Я не видел никакого саквояжа, никакого ящика, сундука, чемодана, в котором хранились бы деньги, составляющие собственность республики Анчурии. Если президент Мирафлорес и скрылся с деньгами, принадлежащими казначейству этой страны, или ему самому, или еще кому-нибудь, я не видал никаких следов этих денег. Ни в гостинице, ни в каком другом месте, ни в то время, ни в какое другое. Мне кажется, что этим показанием вполне исчерпываются все вопросы, которые вам было желательно мне предложить.

Полковник Фалькон поклонился и описал своей сигарой затайливый и широкий зигзаг. Он считал свой долг исполненным. Спорить с Гудвином не подобало. Гудвин был опорой правительства и пользовался безграничным доверием нового президента. Его честность была тем капиталом, который создал ему состояние в Анчурии так же, как в свое время она явилась прибыльной «игрой» Меллинджера, секретаря Мирафлореса.

— Благодарю вас, сеньор Гудвин, за ваш ясный и прямой ответ, — сказал Фалькон — Президенту достаточно вашего слова. Но, сеньор Гудвин, мне приказано выследить всякую нить, которая может привести нас к решению вопроса. Есть обстоятельство, которого я до сих пор не касался. Наши друзья французы, сеньор, обычно говорят: «Cherchez la femme»<sup>[30]</sup>, когда нужно разрешить неразрешимую загадку. Но здесь даже искать не приходится. Женщина, которая сопровождала президента во время его злополучного бегства, несомненно, должна....

— Я вынужден остановить вас, — прервал его Гудвин. — Действительно, когда я вошел в отель, чтобы задержать президента Мирафлореса, я встретил там даму. Но я позволю себе напомнить вам, что теперь она моя жена. То, что я сказал, я сказал и от ее лица. Ей ничего не известно о судьбе саквояжа или денег, о которых вы хлопчете. Скажите президенту, что я ручаюсь за ее невиновность. Едва ли я должен прибавить, полковник Фалькон, что я не хотел бы, чтобы ее подвергли допросу и вообще беспокоили.

Полковник Фалькон опять поклонился.

— Por supuesto!<sup>[31]</sup> — воскликнул он. И чтобы показать, что допрос кончен, он прибавил:

— А теперь, сеньор, покажите мне тот вид с вашей галереи, о котором вы сегодня говорили. Я большой любитель морских видов.

Вечером, еще не поздно, Гудвин проводил своего гостя в город и оставил его на углу Калье Гранде. Когда он шел домой, из двери одной пульперии к нему выскочил с радостным видом некий Блайт-Вельзевул, человек обладавший манерами царедворца и внешним обликом огородного чучела

Блайта наименовали Вельзевулом, чтобы отметить, как велико было его падение. Некогда, в горних куцах давно потерянного рая, он общался с другими ангелами земли. Но судьба швырнула его вниз головой в эти тропики и зажгла в его груди огонь, который ему редко удавалось погасить. В Коралио его называли бродягой, но на самом деле это был закоренелый идеалист, старавшийся похерить скучные истины жизни при помощи водки и рома. Как и подлинный падший ангел, который, должно быть, во время своего страшного падения в бездну с безрассудным упрямством зажимал у себя в кулаке райскую корону или арфу, так этот его тезка держался за свое золотое пенсне, последний признак его бывшего величия. Это пенсне он носил с удивительной важностью, бродяжничая по берегу и вымогая у приятелей монету. Посредством каких-то таинственных чар его пунцово-пьяное лицо было всегда чисто выбрито. С большим изяществом он поступал в приживальщичьи к любому, кто мог обеспечить ему ежедневную выпивку и укрыть от дождя и полуночной росы.

— А-а, Гудвин! — развязно крикнул пропойца. — Я так и думал, что увижу вас. Мне нужно сказать вам по секрету два слова. Пойдемте куда-нибудь, где можно поговорить. Вы, конечно, знаете, что тут болтается приезжий субъект, который разыскивает пропавшие деньги старика Мирафлореса?

— Да, — сказал Гудвин, — у меня уже был с ним разговор. Пойдемте к Эспаде, я могу уделить вам минут десять.

Они вошли в пульперию и сели за маленький столик на табуретки с обитыми кожей сиденьями.

— Будете пить? — спросил Гудвин.

— Только бы поскорее, — сказал Блайт. — У меня с самого утра во рту засуха. Эй, muchacho! el aguardiente por aca. [32]

— А зачем я вам нужен? — спросил Гудвин, когда выпивка была поставлена на стол.

— Черт возьми, милый друг, — сказал сиплым голосом Блайт. — Почему вы омрачаете делами такие золотые мгновения? Я хотел повидаться с вами... Но сначала вот это. — Он одним глотком выпил коньяк и с тоской заглянул в пустой стакан.

— Еще один? — спросил Гудвин.

— По совести говоря, — отозвался падший ангел, — мне не нравится ваше слово «один». Это не совсем деликатно. Но конкретная идея, которая воплощена в этом слове, неплоха.

Стаканы были наполнены снова. Блайт с упоением потягивал напиток и вскоре опять сделался идеалистом.

— Скоро мне пора уходить, — сказал Гудвин, — есть у вас какое-нибудь дело ко мне?

Блайт ответил не сразу.

— Старый Лосада здорово припечет того вора, — заметил он, наконец, — который свистнул этот саквояж. Как по-вашему?

— Несомненно, — спокойно ответил Гудвин и медленно поднялся со стула. — Ну, теперь я пойду домой. Миссис Гудвин одна. Вы так и не сказали мне вашего дела.

— Нет, — отозвался Блайт. — Когда будете проходить мимо стойки, пошлите мне еще один стакан. И заплатите за все. Старый Эспада уже не верит мне в долг.

— Ладно, — сказал Гудвин. — Buenas noches. [33]

Вельзевул склонился над стаканом и вытер свое пенсне не внушающим доверия платком.

— Я думал, что удастся, — пробормотал он после паузы. — Но нет, не могу. Джентльмен не может шантажировать человека, с которым он пьет за одним столом.

## VIII. Адмирал

Анчурийским властям не свойственно горевать о том, чего нельзя воротить. Источников дохода у них сколько угодно; любой час дня и ночи — самый подходящий для выкачивания средств. И даже обильные сливки, снятые околдованным Мирафлоресом, не заставили удачливых патриотов тратить попусту время на бесплодные сожаления. Правительство поступило мудро: оно немедленно стало пополнять дефицит — повысило ввозные пошлины и намекнуло ряду богатых граждан, что посильные пожертвования с их стороны будут расценены как проявление патриотизма, и притом очень своевременное. Казалось, что правление Лосады, нового президента, сулит государству немало добра. Обойденные чиновники и фавориты из армии организовали новую «либеральную» партию и снова стали строить всевозможные планы для свержения власти. Политическая жизнь Анчурии снова начала, как китайская пьеса, медленно разворачивать бесконечные, похожие друг на друга картины. Порой из-за кулис выглядывает Шутка и озаряет цветистые строки.

Дюжина шампанского в сочетании с неофициальным заседанием президента и министров привела к тому, что в стране появился военный флот, а Фелипе Каррера был назначен его адмиралом.

Шампанское, впрочем, было не единственной причиной возникновения флота. Немалую роль в этом деле сыграл также новый военный министр дон Сабас Пласидо.

Президент предложил кабинету собраться, чтобы обсудить ряд политических вопросов и провести несколько текущих государственных дел. Сначала заседание шло вяло и нудно; дела и вино были сухи. Неожиданная шалость, зародившаяся в уме дон Сабаса, придала не в меру серьезной правительственной процедуре оттенок приятной игривости.

На беспорядочной повестке дня стояло донесение береговой полиции о том, что в городе Коралио таможенные захватили шлюпку «Ночная звезда» с контрабандой: галантерейные товары, медицинские снадобья, сахарный песок и коньяк с тремя звездочками, а также шесть винтовок системы Мартини и бочонок американского виски. Так как

шлюпка была схвачена в то время, когда она перевозила контрабанду, она по закону считалась собственностью государства.

Начальник таможни в своем донесении осмелился отступить от строго установленных правил и указал, что конфискованное судно могло бы послужить для нужд республики. Это было первое судно, захваченное таможенным департаментом за десять лет. Начальник таможни воспользовался случаем погладить свой департамент по головке.

Судно действительно могло пригодиться Чиновникам! нередко случалось передвигаться вдоль берега по делам службы, и перевозочных средств у них не хватало. Кроме того, шлюпку можно было бы предоставить верным и надежным матросам, которые, в качестве береговой охраны, отбили бы у контрабандистов охоту заниматься столь неблагоприятным ремеслом. Начальник таможни позволил себе даже указать то лицо, которому, по его мнению, с великой пользой для дела могло быть поручено управление судном. Это молодой уроженец Коралио, некто Фелипе Каррера. Правда, он не слишком умен, но он предан правительству и слывет лучшим моряком на побережье.

Вот это-то указание и дало военному министру возможность спастись от скуки заседания при помощи забавной буффонады.

В конституции этой маленькой приморской банановой республики была полузабытая статья, которая предусматривала создание военного флота. Эта статья вместе со многими другими, более мудрыми, лежала без всякого движения с первого дня основания республики. У Анчурии не было флота, и флот ей не был нужен. Характерно, что именно военный министр дон Сабас, человек веселый, ученый, отважный и своенравный, стряхнул пыль с этой дряхлой и спящей статьи ради того, чтобы в мире стало немного больше веселья, чтобы его снисходительные коллеги улыбнулись.

С великолепной наигранной серьезностью он внес в Высший совет предложение создать флот. Он с таким веселым и остроумным пылом доказывал, каким образом эта государственная мера покроет республику славой и сослужит ей великую службу, что перед его пародией спасовала даже та чванная важность, которая отличала президента Лосаду.

Шампанское игриво кипело в жилах веселых сановников. Не в обычае солидных управителей Анчурии было оживлять свои заседания этим напитком, который набрасывает всеизменяющий покров на всякое серьезное дело. Вино было любезным подношением от представителя фруктовой компании «Везувий» в знак дружбы и кое-каких деловых отношений, существующих между этой компанией и Анчурийской республикой.

Шутка была доведена до конца. Был изготовлен внушительный официальный документ, украшенный печатями всех цветов радуги, а также развевающимися пестрыми лентами. На документе были кудрявые подписи всех анчурийских министров. Эта бумага давала сеньору Фелипе Каррера звание флаг-адмирала республики. Таким-то путем в какие-нибудь двадцать минут и с помощью дюжины бутылок extra dry<sup>[34]</sup> Анчурия заняла подобающее ей место среди морских держав мира, а Фелипе Каррера получил право требовать салюта из девятнадцати пушек всякий раз, когда он появлялся в порту.

Южные расы не обладают тем особенным юмором, который находит приятность в несчастиях и увечьях людей. Отсутствием этого юмора объясняется то, что они никогда не смеются, как смеются их братья на Севере, над юродивыми, сумасшедшими, больными, калеками.

Фелипе Каррера был послан на землю с половиной ума. Поэтому жители Коралио называли его «El pobrecito loco» — бедненький помешанный — и говорили, что бог послал его на землю лишь в половинном размере и что другая его половина находится где-нибудь на небе.

Мрачный и горделивый Фелипе почти никогда не произносил ни единого слова. Его сумасшествие сказывалось лишь негативно. На берегу он обычно уклонялся от всяких разговоров. Он как будто догадывался, что на суше, где требуется столько различных родов понимания, ему лучше молчать, но на воде его единственный талант уравнивал его с другими людьми. Даже те мореплаватели, которых бог делал тщательно, не наспех, не в половинном размере, и те едва ли могли управлять парусной лодкой так искусно. Когда стихии бушевали и заставляли всех людей дрожать, тогда слабоумие Фелипе не служило ему помехой. Он был несовершенный человек/но морское дело знал в совершенстве. Собственного судна у него не было, но он работал



матросом на тех шхунах и шлюпках, которые постоянно шныряют вдоль берега, перевозя фрукты на пароходы в тех местах, где нет пристани. Начальник таможни и советовал предоставить в его распоряжение конфискованную шлюпку именно потому, что уважал его отвагу и талант, а кроме того, чувствовал к нему сострадание.

Когда маленькая шутка дона Сабаса приобрела форму внушительного государственного акта, начальник таможни улыбнулся. Он не ожидал, что его предложение будет выполнено так скоро и в таких преувеличенных формах. Он сейчас же послал *muchacho* за будущим адмиралом.

Начальник таможни ожидал его в своей официальной конторе. Управление таможни помещалось на Калье Гранде, и в окна всегда врывались легкие морские ветерки. Начальник в белом костюме и в парусиновых туфлях сидел за древним письменным столом, перебирая бумаги. Попугай, забравшись на подставку для перьев, смягчал скуку, исходящую от казенных бумаг, огнем отборных кастильских ругательств. Рядом с комнатой начальника помещались две другие. В одной из них мелкочиновная рать, состоящая из юношей всевозможных оттенков кожи, исполняла с большой пышностью свои многообразные обязанности. В другой комнате можно было усмотреть бронзового младенца, нагишом резвящегося на полу. Тут же в гамаке худощавая женщина бледно-лимонного цвета играла на гитаре и с удовольствием покачивалась под дуновением прохладного ветра. Сочетая таким образом выполнение своих высоких обязанностей с видимыми признаками семейного благополучия, начальник таможни чувствовал себя еще более счастливым оттого, что ему была предоставлена власть даровать счастье «скудоумному Фелипе».

Фелипе пришел и стал перед начальником таможни. Это был юноша лет двадцати, довольно благообразный, но с выражением какой-то рассеянности и задумчивой пустоты. На нем были белые хлопчатобумажные брюки, украшенные по швам красными полосами, в чем сказывалось смутное желание приблизиться к военной форме. Его синяя рубаха была открыта у ворота; ноги были босы; в руке он держал самую дешевую соломенную шляпу американской работы.

— Сеньор Каррера, — сказал начальник важно, показывая пышную бумагу. — Я послал за вами по приказу самого президента. Этот документ, который ныне я передаю в ваши руки, возводит вас в чин

адмирала нашей великой республики и предоставляет вам полную власть над всеми морскими силами нашей страны. Вы, может быть, скажете, милый Фелипе, что флота у нас еще нет, но знайте: шлюпка «Ночная звезда», отнятая у контрабандистов моими храбрыми людьми, отдается вам под начало. Шлюпка будет служить государству. Вы должны быть готовы во всякое время перевозить чиновников по морю в любое место, куда им понадобится. Вы также будете по мере сил охранять берег от контрабандистов. Вы будете поддерживать на море честь и престиж вашей родины и примете все меры, чтобы Анчурия заняла первое место среди морских держав мира. Вот инструкции, которые военный министр поручил мне передать вам. *Por dios!* Я не знаю, как вы исполните эту волю властей, так как в приказе министра ни слова не говорится ни о матросах, ни о суммах, ассигнованных на флот. Может быть, матросов вы должны добыть себе сами, сеньор адмирал, этого я не знаю, но все же вам оказана высокая честь. Теперь я передаю вам этот государственный акт. Когда вы будете готовы принять под свою команду наше судно, я распоряжусь, чтобы оно немедленно было предоставлено вам. Других инструкций у меня нет.

Фелипе взял из рук начальника бумагу. Некоторое время он смотрел в открытое окно на блиставшее море с обычным видом глубокого, но бесплодного раздумья. Потом повернулся, не сказав ни единого слова, и быстро зашагал по горячему песчанику улицы.

— *Robrecito loco!* — вздохнул начальник таможни, и попугай, сидящий на подставке для перьев, закричал: «*Loco! loco! loco!*»

На следующее утро по улицам к зданию таможни потянулась странная процессия. Впереди шел адмирал флота. Кое-как ему удалось наскрести жалкое подобие военной формы — красные штаны, грязную короткую синюю куртку, обильно расшитую золотой тесьмой, и старую солдатскую фуражку, которую, должно быть, бросил за ненадобностью в Белисе какой-нибудь британский солдат, а Фелипе подобрал во время одного из своих плаваний. К его поясу была пристегнута пряжкой старинная морская шпага, подаренная ему булочником Педро Лафитом, который с гордостью утверждал, что унаследовал ее от своего великого предка, знаменитого пирата. За адмиралом шествовали его матросы, только что призванные на его корабль, — тройка улыбающихся, лоснящихся черных караибов,

обнаженных до пояса и поднимавших босыми ногами целые тучи песку.

В кратких выражениях, с большим достоинством потребовал Фелипе у начальника таможни свое судно. Тут ожидали его новые почести. Супруга начальника, которая весь день играла на гитаре и читала в гамаке романы, таила в своей желтой беззлой груди большую любовь ко всему романтическому. Она разыскала в одной старой книге изображение флага, который в незапамятные времена был якобы морским флагом Анчурии. Может быть, идея его принадлежала еще родоначальникам нации; но так как флота им создать не удалось, флаг погрузился в забвение. Старательно, своими собственными ручками романтическая дама изготовила флаг по рисунку: красный крест на сине-белом поле. Она поднесла его Фелипе с такими словами:

— Отважный мореплаватель, это флаг твоей родины. Будь верен ему и, если нужно, умри за него! Да хранит тебя бог!

Впервые на лице адмирала появился проблеск какого-то чувства. Он взял шелковый стяг и благоговейно погладил его.

— Я адмирал, — сказал он, обращаясь к супруге начальника. К более подробному выражению чувств на суше он не мог себя принудить. Но на море, когда он, увенчает переднюю мачту своего флота флагом, у него, может быть, найдутся более красноречивые слова.

После этого адмирал удалился в сопровождении своих подчиненных. Три дня они трудились на берегу над «Ночную звездою»: красили ее в белый цвет с голубой каймой. После этого Фелипе украсил себя новыми знаками отличия — воткнул себе в фуражку яркие перья попугая. Затем он снова проследовал со своей верной командой к зданию таможни и официально уведомил ее начальника, что шлюпке дано новое название: «El Nacional».

Нелегко пришлось флоту в первые месяцы. Ведь и адмиралы не знают, что им делать, если они не получают приказов. Но приказов ниоткуда не поступало. Не поступало и жалованья. «El Nacional» праздно качался на якоре.

Когда жалкие сбережения Фелипе истощились, он пошел в таможню и поднял вопрос о финансах.

— Жалованье! — воскликнул начальник таможни, поднимая руки к небесам. — Valgame dios!<sup>[35]</sup> Я сам не получаю жалованья, ни сентаво за последние семь месяцев! Сколько полагается адмиралу, вы спрашиваете? Кто знает! Не меньше, чем три тысячи песо! Скоро в стране будет опять революция. Первый знак, что идет революция: правительство только и делает, что требует у нас золота, золота, золота, а само не платит нам ни реала.

Фелипе повернулся и ушел. На его мрачном лице появилось даже какое-то подобие радости. Революция — это война, а если война, значит адмирал не останется без дела. Довольно унижительно быть адмиралом и не делать ровно ничего. А тут еще голодные матросы ходят за тобою по пятам и надоедают, чтобы ты дал им на табак и бананы.

Когда он вернулся туда, где его ждала команда его беспечальных караибов, все они вскочили на ноги и отдали ему честь, как он сам научил их.

— Вот в чем дело, muchachos, — сказал он им, — оказывается, наше правительство бедное. У него нет денег ни для меня, ни для вас. Будем же сами зарабатывать на прожитье. Этим мы послужим родине. Скоро, — и тут его тусклый взгляд засветился, — она обратится к нам за помощью.

С этого времени «El Nacional» перестал выделяться из числа других прибрежных лодок. Он превратился в обыкновенное рабочее судно. Наравне с плоскодонками работал он, перевозя бананы и апельсины на пароходы, которые останавливались за милю от берега. Военный флот, не требующий у казны ассигновок, заслуживает того, чтобы быть отмеченным ярко-красными буквами в бюджете любой страны.

Заработав достаточно, чтобы обеспечить и себя и команду на целую неделю вперед, Фелипе ставил свое судно на якорь и отправлялся, в сопровождении свиты, к маленькому зданию почтово-телеграфной конторы. Глядя со стороны, можно было подумать, что это прогоревшая опереточная труппа осаждает укрывающегося антрепренера. В сердце у Фелипе никогда не умирала надежда, что вот-вот ему пришлют какой-нибудь приказ из столицы. Большой обидой для его самолюбия и его патриотизма было то, что в нем, как в адмирале, никто не нуждался. Всякий раз, придя на телеграф, он

спрашивал очень серьезно, с надеждой во взоре, нет ли телеграммы на его имя.

Телеграфист делал вид, что роется среди телеграмм, и неизменно отвечал одно и то же:

— Покуда нет, *Senor el Almirante*! *Poco tiempo!*<sup>[36]</sup>

А на улице, в холодке под лимонными (Деревьями, его команда жевала сахарный тростник или безмятежно спала. Какое удовольствие служить государству, которое довольствуется столь малой службой!

Однажды, в начале лета, в стране вспыхнула революция, предсказанная начальником таможни Она давно уже тлела под спудом. При первом же раскате революционной грозы адмирал направил свое судно к берегам соседней республики и променял наскоро собранные фрукты на патроны для пяти винтовок системы Мартини — единственных орудий, которыми мог похвалиться флот. Потом он вернулся домой и поспешил на телеграф. Мундир его вылинял, длинная сабля цепляла о пунцовые штаны. Он растягивался в своем излюбленном углу и снова принимался ждать телеграмму — эту телеграмму, которая так долго не приходит, но теперь придет непременно.

— Покуда нет, *Senor el Almirante*, — говорил телеграфист. — *Poco tiempo!*

При этом ответе адмирал, гремя саблей, опускался на стул и снова ждал, когда затикает аппарат на столе.

— Придет! — говорил он с уверенностью. — Я адмирал!

## IX. Редкостный флаг

Во главе повстанцев на этот раз оказался Гектор и Пиндар южных республик, дон Сабас Пласидо. Путешественник, воин, поэт, ученый, государственный деятель, тонкий ценитель искусств — что интересного мог он найти в мелких делах родного захолустья?

— Политические интриги для нашего друга Пласидо — просто каприз, — объяснял один его приятель. — Революция для него то же самое, что новые темпы в музыке, новые бактерии в науке, новый запах, или новая рифма, или новое взрывчатое вещество. Он выжмет из революции все возможные ощущения и через неделю забудет о ней и снова пустится на своей бригантине черт знает куда, за океан, чтобы пополнить какойнибудь редкостью свою и так уже всемирно знаменитую коллекцию. Коллекцию чего? Боже мой, решительно всего: начиная с почтовых марок и кончая доисторическими каменными идолами.

Однако события под руководством этого эстета и дилетанта развертывались довольно бурно. Население обожало его. Его яркая личность привлекала к нему сердца. Кроме того, всем было лестно, что такой большой человек мог заинтересоваться такой малостью, как собственная родина. В столице многие примкнули к его знаменам, хотя войска (вразрез с его планами) оставались верны старому правительству. В прибрежных городишках уже начались весьма оживленные схватки. Говорили, будто за оппозиционной партией стоит пароходная компания «Везувий» — великая сила, которая всегда смотрела на республику Анурию с укоризненной улыбкой и поднятым пальцем, внушая ей, чтобы она не шалила и была паинькой. Пароходная компания «Везувий» предоставила свои пароходы «Путник» и «Спаситель» для перевозки революционных отрядов.

Но в Коралио все было тихо. Город был объявлен на военном положении, и, таким образом, революционные дрожжи до поры до времени были прочно закупорены. А потом разнеслись слухи, что повстанцы повсюду разбиты. В столице войска президента одержали победу; передавали, будто вожди восстания были вынуждены скрыться и бежать и что за ними будто мчалась погоня.

В маленькой почтовой конторе всегда толпились чиновники и преданные правительству граждане, ожидая новостей из столицы. Однажды в конторе застучал телеграфный аппарат и через минуту телеграфист закричал во все горло:

— Телеграмма для el Almirante дона сеньора Фелипе Каррера!

Послышался суетливый шорох, потом резкое бряцание жестяных ножен; адмирал быстро вскочил со своего обычного места и побежал через всю комнату к телеграфисту.

Ему дали телеграмму. Он стал читать ее медленно, по складам. Это был первый приказ, полученный им от начальства. В приказе было начертано:

*«Немедленно доставьте свое судно к устью реки Руис, откуда повезете говядину и другие припасы для солдатских казарм в Альфоране.*

*Генерал Мартинес».*

Невелика честь везти говядину, но, как бы то ни было, адмирала наконец-то призвали на службу отечеству, и радость охватила его. Он еще ту же затянул свой кушак, разбудил дремавшую команду, и через четверть часа «El Nacional» уже несея вдоль берега на всех парусах под свежим ветром, дувшим с океана.

Рио-Руис — небольшая речонка, впадающая в море за десять миль от Коралио. Этот участок берега дик и безлюден. С высот Кордильер несетя Руис, холодная и пенистая, а потом, успокоившись на низине, широко и лениво течет по наносному болоту в море.

Через два часа «El Nacional» прибыл к устью реки. Берега были покрыты уродливыми, страшными деревьями. Буйные заросли тропиков опутали все берега и погрузились в красно-бурую воду. Беззвучно вошла туда шлюпка и была встречена еще более глубоким беззвучием, Сверкая зеленью, охрой, ярко пунцовыми красками, Рио-Руис покоилась в тени, без движения, без звука. Только и было слышно, как вливавшаяся в море вода ворковала у носа шлюпки. Можно ли было надеяться получить в этом пустынном безлюдье говядину и другие припасы?

Адмирал решил бросить якорь, и едва загремела цепь, как в лесу раздался неожиданный шум, мгновенно подхваченный эхом. Устье

реки Руис пробудилось от утреннего сна. Попугаи и павианы завизжали и залаяли в листве; свист, писк, рычание: животная жизнь проснулась; мелькнуло что-то синее: это испугнутый тапир пробивал себе дорогу сквозь лианы.

Военный флот по приказу адмирала простоял в устье речки несколько долгих часов. Команда соорудила обед: похлебка из акульих плавников, бананы, вареные крабы и кислое вино. Адмирал в трехфутовый телескоп внимательно разглядывал непроходимую чащу листвы в пятидесяти футах от себя.

Дело шло к вечеру, когда внезапно в лесу, с левой стороны, послышались раскатистые крики «Ал-ло-о!» С судна ответили, и три человека, верхом на мулах, продрались сквозь густую листву и остановились ярдах в десяти от воды. Там они соскочили с мулов, и один из них расстегнул пояс и так яростно ударил ножами своей шпаги всех мулов одного за другим, что животные, вскинув ногами, галопом кинулись обратно в лес.

Странно: неужели этим людям поручено доставить на берег говядину? Совсем неподходящие люди! Один крупный, энергичный мужчина, весьма незаурядной наружности. Чистый испанский тип — темные курчавые волосы, тронутые кое-где сединой, глаза голубые, блестящие, и осанка важного сеньора, *caballero grande*. Двое других были невысокого роста, темнолицы, в военных мундирах, в высоких ботфортах и при шпагах. Платье у всех было мятое, рваное, грязное. Очевидно, какая-то очень серьезная причина погнала их сломя голову через джунгли, болота и реки.

— О-гэ! *Senor Almirante!* — крикнул высокий мужчина. — Пошлите-ка нам ваш челнок.

Челнок был спущен на воду; Фелипе с одним из караيبов взяли за весла и причалили к левому берегу.

Рослый, дородный мужчина стоял у самого края воды, по пояс в перепутанных лианах. Взглянув на воронье пугало, сидевшее на корме челнока, он, видимо, почувствовал к нему живой интерес; его подвижное лицо так и засветилось.

Месяцы бескорыстной службы — без всякого жалованья — сильно омрачили блистательную внешность адмирала. Его малиновые брюки превратились в лохмотья. Блестящие пуговицы почти все отвалились.



Желтая тесьма тоже. Козырек его фуражки был оторван и болтался над самыми глазами. Ноги адмирала были босы.

— Дорогой адмирал! — крикнул дородный мужчина, и его голос зазвучал, словно охотничий рог. — Целую ваши руки, дорогой адмирал! Я знал, что мы можем положиться на вас Вы такой надежный патриот! Вы получили нашу телеграмму от... генерала Мартинеса? Пожалуйста, вот сюда, ближе, ближе, дорогой адмирал. На этих зыбких дьявольских болотах мы все еще не чувствуем себя в безопасности.

Фелипе смотрел на него с неподвижным лицом.

— Говядину и другие припасы для Альфоранских казарм, — процитировал он.

— Право, дорогой адмирал, мясники были бы рады поработать ножом, да не вышло. Скот будет спасен вы приехали вовремя. Поскорее возьмите нас к себе на корабль, сеньор. Сначала вы, caballeros, а prisa!<sup>[37]</sup> А потом приедете за мной. Лодочка слишком мала.

Челнок подвез двух офицеров к шлюпке и вернулся к берегу за толстяком.

— А есть ли у вас, дорогой адмирал, такая презренная вещь, как еда, — крикнул он, очутившись на судне. — И, может быть, кофе?.. «Говядина и другие припасы» Nombre de dios!<sup>[38]</sup> Еще немного, и мы принуждены были бы съесть одного из этих мулов, которых вы, полковник Рафаэль, приветствовали так нежно в последнюю минуту ножнами вашей шпаги. Давайте же подкрепимся едою — и в путь!.. Прямо к Альфоранским казармам, не так ли?

Караибы приготовили пищу, на которую три пассажира «El Nacional» накинулись с радостью сильно проголодавшихся людей. С наступлением вечера ветер, как всегда в этих местах, переменился; подуло с гор; повеяло прохладой, стоячими болотами, гнилыми растениями топей. Грот был поднят и надулся, и в ту же минуту с берега, из глубины лесной чащи, послышался нарастающий гул. Стали доноситься какие-то крики.

— Это мясники, — засмеялся большой человек, — мясники, дорогой адмирал! Но они опоздали. Скотинки для убоя уж нет.

Адмирал командовал судном и больше не произносил ни слова. Когда поставили кливер и марсель, шлюпка быстро выбралась из

устья. Толстяк и его спутники устроились на голой палубе с наибольшим доступным в их положении комфортом. Очевидно, до сих пор они были охвачены единственной мыслью, как бы отчалить от этого неприятного берега; теперь, когда опасность уменьшилась, они могли позволить себе подумать о дальнейшем избавлении. Впрочем, увидев, что шлюпка повернула и понеслась в направлении Коралио, они успокоились, вполне довольные курсом, которого держался адмирал.

Толстяк сидел развалившись; его живые синие глаза задумчиво вглядывались в командуемого военным флотом. Он пытался разгадать этого мрачного, нелепого юношу. Что таится за его непроницаемым, неподвижным лицом? Таков уж был характер у этого пассажира. Он еще не ушел от опасности, его ищут, за ним погоня, только что он был разбит и побежден, и все же, несмотря ни на что, в нем уже пылает любопытство к новому, неизведанному явлению жизни. Да и кто, кроме него, мог бы придумать такой рискованный и сумасшедший план: послать депешу этому несчастному, безмозглому fanatico в несусветном мундире, носителю опереточного титула? Его спутники потеряли голову, убежать, казалось, было невозможно. И все же они убежали, и все же план, который они называли безумным, удался превосходно. Толстяк был положительно доволен собой.

Краткие тропические сумерки быстро растворились в жемчужном великолепии лунной ночи. Справа, на фоне потемневшего берега, появились огоньки Коралио. Адмирал стоял молча у румпеля. Караибы, как темные пантеры, бесшумно прыгали с места на место, подчиняясь коротким словам его команды. Три пассажира внимательно вглядывались в море, и когда, наконец, перед ними возник силуэт парохода с отраженными глубоко в воде огнями, стоящего на якоре за милю от берега, у них закипел оживленный секретный разговор. Шлюпка шла не к берегу, но и не к судну. Она держала курс посередине.

Спустя некоторое время толстяк отделился от своих товарищей и приблизился к пугалу, стоящему у руля.

— Мой дорогой адмирал, — сказал он, — наше правительство положительно слепо: оно ухитрилось не заметить, как верно и доблестно вы служите ему. Мне стыдно, что оно до сих пор не вознаградило вас по заслугам. Это непростительно. Но ничего,

подождите: в награду за вашу верную службу вам дадут новый корабль, новый мундир и новых матросов. А куда вот вам еще поручение. Пароход, который вы видите впереди, — «Спаситель». Мне и моим друзьям желательно попасть туда возможно скорее по делу государственной важности. Будьте любезны, направьте свое судно туда.

Адмирал ничего не ответил, но резко скомандовал что-то и направил судно прямо в гавань. «El Nacional» накренился и стрелой помчался к берегу.

— Сделайте милость, — сказал пассажир с чуть заметным раздражением, — дайте же по крайней мере знак, что вы слышите мои слова и понимаете их.

Может быть, у этого несчастного нет не только ума, но и слуха?

У адмирала вырвался жесткий, каркающий смех, и он заговорил:

— Тебя поставят лицом к стене и застрелят. Так убивают изменников. Я узнал тебя сразу, чуть ты вошел в мою лодку. Я видал тебя на картинке. Ты Сабас Пласидо, изменник своей родине. Лицом к стене, да, да, лицом к стене. Так ты померешь. Я адмирал, и я повезу тебя в город. Лицом к стене. Да, да, лицом к стене.

Дон Сабас повернулся к двум другим беглецам и с громким смехом сделал движение рукою.

— Вам, caballeros, я рассказывал историю заседания, когда мы сочинили эту... о! эту смешную бумагу. Поистине наша шутка повернулась против нас же самих. Взгляните на чудовище Франкенштейна<sup>[39]</sup>, которое мы создали!

Дон Сабас кинул взор по направлению к берегу. Огни Коралио все приближались. Он уже мог различить полосу песчаного берега, государственные склады рома — Bodega Nacional, длинное низкое здание казармы, набитое солдатами, и там, позади, — озаренную луной высокую глиняную стену. Не раз в своей жизни он видел, как людей ставили лицом к этой стене и расстреливали.

И снова он обратился к причудливой фигуре на корме.

— Правда, — сказал он, — я хочу убежать отсюда. Но уверяю вас, что разлука с отчизной очень мало волнует меня... Меня, Сабаса Пласидо, всюду встретят с распростертыми объятиями — при любом дворе, в любом военном лагере. Vaya!<sup>[40]</sup> А это свиное логово, кротовая нора, эта республика — что делать в ней такому человеку, как

я? Я paisano<sup>[41]</sup> всех стран. В Риме, в Лондоне, в Париже, в Вене — всюду мне скажут одно: добро пожаловать, дон Сабас! Вы снова приехали к нам! Ну, ты, tonto<sup>[42]</sup>, павиан... адмирал, как бы там тебя не величали, поверни свою лодку. Посади нас на борт парохода «Спаситель» и получай — здесь пятьсот песо деньгами Estados Unidos<sup>[43]</sup> — это больше, чем заплатит тебе твое лживое начальство в двадцать лет.

Дон Сабас стал втискивать в руку молодого человека пухлый кошелек с деньгами. Адмирал не обратил никакого внимания ни на его слова, ни на его жесты. Он был словно прикован к рулю. Шлюпка неслась прямо к берегу. На неосмысленном лице адмирала появилось что-то светлое, почти разумное, как будто он придумал какую-то хитрость, которая доставляла ему много веселья. Он снова закричал, как попугай:

— Вот для чего они делают так: чтобы ты не видел винтовок. Выстрелят — бум! — и ты мертвый. Лицом к стене. Да.

Потом внезапно он отдал своей команде какой-то приказ. Ловко и беззвучно караибы закрепили шкоты, которые они держали в руках, и нырнули в трюм через люк. Когда скрылся последний из них, дон Сабас, как большой бурый леопард, кинулся вперед, захлопнул люк и сказал с улыбкой:

— Ружей не нужно, дорогой адмирал. Когда-то для забавы я составил словарь караибского языка, и потому я понял ваш приказ... Может быть, теперь...

Но он не договорил, потому что раздалось пренеприятное «звяк» какого-то железа, которое царапало жечь. Адмирал извлек из ножен шпагу Педро Лафита и кинулся с нею на своего пассажира. Занесенный клинок опустился, и лишь благодаря изумительной ловкости великан ускользнул, отделавшись царапиной на плече. Вскочив на ноги, он вынул револьвер и выстрелил в адмирала. Адмирал упал.

Дон Сабас нагнулся над ним, но через минуту встал на ноги.

— В сердце, — сказал он. — Сеньоры, военный флот уничтожен.

Полковник Рафаэль бросился к рулю, другой офицер стал развязывать шкоты; передняя рея описала дугу, «El Nacional» повернулся и поплыл к пароходу «Спаситель».

— Сорвите флаг, сеньор! — сказал полковник Рафаэль. — Наши друзья на пароходе не поймут, почему мы крейсируем под таким флагом.

— Справедливо! — сказал дон Сабас. Подойдя к мачте, он спустил флаг прямо к тому месту, где на палубе лежал доблестный защитник этого флага. Таково было окончание маленькой послеобеденной шутки, придуманной военным министром... Кто начал ее, тот и кончил.

Но вдруг дон Сабас испустил крик радости и побежал по откосой палубе к полковнику Рафаэлю. Через руку он перекинул флаг погибшего флота.

— Mire! Mire!<sup>[44]</sup> Senor! Ah, dios! Ну и зарычит этот австрийский медведь! «Ты разбил мое сердце!» — скажет он. «Du hast mein Herz gebrochen!» Mire! Вы слышали, я уже рассказывал вам о моем венском приятеле, о герре Грюнитце. Этот человек ездил на Цейлон, чтобы добыть орхидею, в Патагонию — за головным украшением... в Бенарес — за туфлей... в Мозамбик — за наконечником копья. Тебе известно, amigo Рафаэль, что я тоже собиратель всяких редкостей. Моя коллекция военно-морских флагов была до прошлого года самая обширная в мире. Но герр Грюнитц раздобыл два таких экземпляра, о! два таких экземпляра, что его коллекция стала считаться полнее моей. К счастью, их можно достать, и я их достану! Но этот флаг, сеньор, знаете ли вы, какой это флаг? Видите: малиновый крест на бело-синем поле. Вы не видели его до сих пор ни разу? Seguramente, no!<sup>[45]</sup> Это морской флаг вашей родины. Mire! Эта гнилая лохань, в которой мы сейчас находимся, — ее флот; этот мертвый какаду — начальник флота; этот взмах шпаги и единственный выстрел из револьвера — морской бой. Глупость, чепуха, но это жизнь! Другого такого флага никогда не было и не будет. Это уникам. Подумайте, что это значит для собирателя флагов. Знаете ли вы, полковник, сколько золотых крон дал бы герр Грюнитц за этот флаг? Тысяч десять, не меньше. Но я не отдам его и за сто. Дивный флаг! Единственный флаг! Неземной флаг, черт тебя возьми! О-гэ, старый ворчун, герр Грюнитц, подожди, когда дон Сабас вернется на Кенигин-штрассе. Он позволит тебе пасть на колени и дотронуться пальцем до этого флага, О-гэ! ты шнырял по всему миру со своими очками, а его проморгал.

Забыты были неудачи революции, опасности, утраты, боль и обида разгрома. Охваченный всепоглощающей страстью коллекционера, он шагал взад и вперед по маленькой палубе, прижимая свою находку к груди. Он с торжеством поглядывал на восток. Голосом звонким, как труба, он воспевал свое сокровище, словно старый герр Грюнитц мог услышать его в своей затхлой берлоге за океаном.

На «Спасителе» их ждали и встретили радостно. Шлюпка скользнула вдоль борта парохода и остановилась у глубокого выреза, устроенного в борту для погрузки фруктов. Матросы «Спасителя» зацепили шлюпку баграми и подтащили к борту.

Через борт перегнулся капитан Мак-Леод.

— Говорят, сеньор, делу-то крышка...

— Крышка? Какая крышка? — С минуту дон Сабас был в недоумении, с минуту, не больше. — А! Революция. Да! — И он повел плечом, отбрасывая от себя всякие мысли о ней.

Капитану рассказали о побеге и о команде, запертой в трюме.

— Караибы? — сказал он. — Они не причинят нам вреда.

Он спрыгнул в шлюпку, отодвинул скобу, и из трюма стали выползать черномазые потные, но улыбающиеся.

— Эй вы, черненькие! — сказал капитан. — Возьмите свою лодку и валяйте назад, домой.

Он указал на шлюпку, на них и на Коралио. Их лица озарились еще более широкой улыбкой, они закивали и заговорили:

— Да, да!

Дон Сабас, оба офицера и капитан собрались покинуть шлюпку. Дон Сабас отстал от других, взглянул на тело адмирала, раскинувшееся на палубе в ярких отлепках.

— Pobrecito loco! — сказал он нежно.

Дон Сабас был блистательный космополит, первоклассный знаток и ценитель искусств; но в конце концов по инстинктам и крови он был сын своего народа. Как сказал бы самый простой коралийский крестьянин, так сказал и дон Сабас; без улыбки посмотрел он на адмирала и сказал:

— Бедный несмысленьш!

Нагнувшись, он приподнял мертвого за тощие плечи и подостлал под них свой бесценный, единственный флаг. Потом он снял с себя

бриллиантовую звезду — орден Сан-Карлоса и, словно булавкой, скрепил ею концы флага на груди у адмирала.

Потом догнал остальных и встал вместе с ними на палубе «Спасителя». Матросы, державшие шлюпку, оттолкнули ее от борта. Караибы отчалили, натянули паруса, и шлюпка понеслась к берегу.

А коллекция военно-морских флагов, принадлежащая герру Грюнитцу, так и осталась самой полной и первой в мире.

## Х. Трилистник и пальма

Однажды в душный безветренный вечер, когда казалось, что Коралио еще ближе придвинулся к раскаленным решеткам ада, пять человек собрались у дверей фотографического заведения Кьюу и Клэнси. Так во всех экзотических, дьявольски жарких местах на земле белые люди сходятся вместе по окончании работ, чтобы, браня и порицая чужое, тем самым закрепить за собою права на великое наследие предков.

Джонни Этвуд лежал на траве, голый, как караиб в жаркое время года, и еле слышно лепетал о холодной воде, которую в таком изобилии дают осененные магнолиями колодцы его родного Дэйлсбурга. Доктору Грэггу, из уважения к его бороде, а также из желания подкупить его, чтобы он не начал делиться своими медицинскими воспоминаниями, был предоставлен гамак, протянутый между дверным косяком и тыквенным деревом. Кьюу вынес на улицу столик с принадлежностями для фотографической ретуши. Он единственный из всех пятерых занимался делом. Горный инженер Бланшар, француз, в белом прохладном полотняном костюме, сидел, словно не замечая жары, и следил сквозь спокойные стекла очков за дымом своей папиросы. Клэнси сидел на ступеньке и курил короткую трубку. Ему хотелось болтать. Остальные так размякли от жары, что являлись идеальными слушателями: ни возражать, ни уйти они не могли.

Клэнси был американцем с ирландским темпераментом и вкусами космополита. Многими профессиями он занимался, но каждой — только короткое время. У него была натура бродяги. Цинкография была лишь небольшим эпизодом его скитальческой жизни. Иногда он соглашался передать своими словами какое-нибудь событие, отметившее его вылазки в мир экзотический и неофициальный. Сегодня, судя по некоторым симптомам, он был склонен кое-что разгласить.

— Элегантная погодка для боя! — начал он. — Это мне напоминает то время, когда я пытался освободить одно государство от



убийственного гнета тиранов. Трудная работа: спины не разогнуть, на ладонях мозоли.

— Я и не знал, что вы отдавали свой меч угнетенным народам, — проямлил Этвуд, лежа на траве.

— Да! — сказал Клэнси. — Но мой меч перековали на орало.

— Что же это за страна, которую вы осчастливили своим покровительством? — спросил Бланшар немного свысока.

— Где Камчатка? — отозвался Клэнси без всякой видимой связи с вопросом.

— Где-то в Сибири... у полюса, — неуверенно вымолвил кто-то.

Клэнси удовлетворенно кивнул головой.

— Я так и думал.. Камчатка — это где холодно! Я всегда путаю эти два названия. Гватемала-это где жарко. Я был в Гватемале. На карте вы найдете это место в районе, который называется тропиками. По милости провидения страна лежит на морском берегу, так что составитель географических карт может печатать названия городов прямо в морской воде. Названия длинные, не меньше дюйма, если даже напечатать их мелкими буквами, составлены из разных испанских диалектов и, сколько я понимаю, по той же системе, от которой взорвался «Мэйн».<sup>[46]</sup> Да, вот в эту страну я и помчался, чтобы в смертном бою поразить ее деспотов, стреляя в них из одноствольной кирки, да еще незаряженной. Не понимаете, конечно? Да, тут кое-что нужно разъяснить.

Это было в Новом Орлеане, утром, в начале июня. Стою я на пристани, смотрю на корабли. Прямо против меня, внизу, вижу, небольшой пароход готов тронуться в путь. Из труб его идет дым, и босяки нагружают его какими-то ящиками. Ящики большие — фута два ширины, фута четыре длины — и как будто довольно тяжелые. Они штабелями лежали на пристани.

От нечего делать я подошел к ним Крышка у одного из них была отбита, я приподнял ее из любопытства и заглянул внутрь Ящик был доверху набит винтовками Винчестера.

«Так, так, — сказал я себе. — Кто-то хочет нарушить закон о нейтралитете Соединенных Штатов Кто-то хочет помочь кому-то оружием Интересно узнать, куда отправляются эти пугачи».

Слышу, сзади кто-то кашляет! Оборачиваюсь. Передо мною кругленький, жирненький, небольшого роста человечек. Личико у него

темненькое, костюмчик беленький, а на пальчике брильянт в четыре карата. Замечательный человек, лучше не надо. В глазах у него вопрос и уважение. Похож на иностранца — не то русский, не то японец, не то житель Архипелагов.

— Тс! — говорит человек шепотом, словно секрет сообщает. — Не будет ли сеньор такой любезный, не согласится ли он с уважением отнестись к той тайне, которую ему случайно удалось подсмотреть, — чтоб люди на пароходе не узнали о ней? Сеньор будет джентльменом, он не скажет никому ни слова.

— Мусью, — сказал я (потому что он казался мне вроде француза), — позвольте принести вам уверение, что вашей тайны не узнает никто Джеймс Клэнси не такой человек. К этому разрешите добавить: вив ля либерте — да здравствует свобода! Я, Джеймс Клэнси, всегда был врагом всех существующих властей и правительств.

— Сеньор очень карош! — говорит человек, улыбаясь в черные усы. — Не пожелает ли сеньор подняться на корабль и выпить стаканчик вина?

Так как я — Джеймс Клэнси, то не прошло и минуты, как я уже сидел вместе с этим заграничным мусью в каюте парохода за столиком, а на столике стояла бутылка. Я слышал, как грохотали ящики, которые швыряли в трюм. По моему расчету, во всех этих ящиках было никак не меньше двух тысяч винтовок. Выпили мы бутылочку, появилась другая. Дать Джеймсу Клэнси бутылку вина — все равно что спровоцировать восстание. Я много слышал о революциях в тропических странах, и мне захотелось приложить к ним руку.

— Что, мусью, — спросил я, подмигивая, — вы немного хотите расшевелить вашу родину, а?

— Да, да! — закричал человек, ударяя кулаком по столу. — Произойдут большие перемены! Довольно дурачить народ обещаниями! Пора, наконец, взяться за дело. Предстоит большая работа! Наши силы двинутся в столицу. Caramba!

— Правильно, — говорю я, пьянея от восторга, а также от вина. — Другими словами, вив ля либерте, как я уже сказал. Пусть древний трилистник... то есть банановая лоза и пряничное дерево, или какая ни на есть эмблема вашей угнетенной страны, цветет и не вянет вовеки.

— Весьма благодарен, — говорит человечек, — за ваши братские чувства. Больше всего нашему делу нужны сильные и смелые работники. О, если бы найти тысячу сильных, благородных людей, которые помогли бы генералу де Вега покрыть нашу родину славой и честью. Но трудно, о, как трудно завербовать таких людей для работы.

— Слушайте, мусью, — кричу я, хватая его за руку, — я не знаю, где находится ваша страна, но сердце у меня обливается кровью, так горячо я люблю ее. Сердце Джеймса Клэнси никогда не было глухо к страданиям угнетенных народов. Мы все, вся наша семья, флибустьеры по рождению и иностранцы по ремеслу. Если вам нужны руки Джеймса Клэнси и его кровь, чтобы свергнуть ярмо тирана, я в вашем распоряжении, я ваш.

Генерал де Вега был в восторге, что заручился моим сочувствием к своей конспирации и политическим трудностям. Он попробовал обнять меня через стол, но ему помешали его толстое брюхо и вино, которое раньше было в бутылках. Таким образом я стал флибустьером. Генерал сказал мне, что его родину зовут Гватемала, что это самое великое государство, какое когда-либо омывал океан. В глазах у него были слезы, и время от времени он повторял:

— А, сильные, здоровые, смелые люди! Вот что нужно моей родине!

Потом этот генерал де Вега, как он себя называл, принес мне бумагу и попросил подписать ее. Я подписал и сделал замечательный росчерк с чудесной завитушкой.

— Деньги за проезд, — деловито сказал генерал, — будут вычтены из вашего жалованья.

— Ничего подобного! — сказал я не без гордости. — За проезд я плачу сам.

Сто восемьдесят долларов хранилось у меня во внутреннем кармане. Я был не то, что другие флибустьеры: флибустьерил не ради еды и штанов.

Пароход должен был отойти через два часа. Я сошел на берег, чтобы купить себе кое-что необходимое. Вернувшись, я с гордостью показал свою покупку генералу: легкое меховое пальто, валенки, шапку с наушниками, изящные рукавицы! обшитые пухом, и шерстяной шарф.

— Caramba! — воскликнул генерал. — Можно ли в таком костюме ехать в тропики!

Потом этот хитрец смеется, зовет капитана, капитан — комиссара, комиссар зовет по трубке механика, и вся шайка толпится у моей каюты и хохочет.

Я задумываюсь на минуту и с серьезным видом прошу генерала сказать мне еще раз, как зовется та страна, куда мы едем. Он говорит: «Гватемала» — и я вижу тогда, что в голове у меня была другая: Камчатка. С тех пор мне трудно отделить эти нации — так у меня спутались их названия, климаты и географическое положение.

Я заплатил за проезд двадцать четыре доллара — еду в каюте первого класса, столуюсь с офицерами. На нижней палубе пассажиры второклассные. Люди-человек сорок — какие-то итальяшки, не знаю. И к чему их столько и куда они едут?

Ну, хорошо. Ехали мы три дня и причалили, наконец, к Гватемале. Это синяя страна, а не желтая, как ее малюют на географических картах. Вышли мы на берег. Там стоял городишко. Нас ожидал поезд, несколько вагонов на кривых, расшатанных рельсах. Ящики перенесли на берег и погрузили в вагоны. Потом в вагоны набились итальяшки, я вместе с генералом сел в первый. Да, мы с генералом де Вега были во главе революции! Приморский городишко остался позади. Поезд шел так быстро, как полисмен на склоку. Пейзаж вокруг был такой, какой можно увидеть только в учебниках географии. За семь часов мы сделали сорок миль, и поезд остановился. Рельсы кончились. Мы приехали в какой-то лагерь, гнусный, болотистый, мокрый. Запустение и меланхолия. Впереди рубили просеку и вели земляные работы. «Здесь, — говорю я себе, — романтическое убежище революционеров, здесь Джеймс Кленси, как доблестный ирландец, представитель высшей расы и потомок фениев, отдаст свою душу борьбе за свободу».

Из вагона вынули ящики и стали сбивать с них крышки. Из первого же ящика генерал де Вега вынул винтовки Винчестера и стал раздавать их отряду каких-то омерзительных солдат. Другие ящики тоже открыли, и — верьте мне или не верьте, черт возьми, — ни одного ружья в них не оказалось. Все ящики были набиты лопатами и кирками.

И вот, провалиться бы этим тропикам, гордый Кленси и презренные итальяшки — все получают либо кирку, либо лопату, и

всех гонят работать на этой поганой железной дороге. Да, вот для чего ехали сюда макаронники, вот какую бумагу подписал Флибустьер Джеймс Клэнси, подписал, не зная, не догадываясь. После я разведаль, в чем дело. Оказывается, для работ по проведению железной дороги трудно было найти рабочую силу. Местные жители слишком умны и ленивы. Да и зачем им работать? Стоит им протянуть одну руку, и в руке у них окажется самый дорогой, самый изысканный плод, какой только есть на земле; стоит им протянуть другую — и они заснут хоть на неделю, не боясь, что в семь часов утра их разбудит фабричный гудок или что сейчас к ним войдет сборщик квартирной платы. Поневоле приходится отправляться в Соединенные Штаты и обманом завлекать рабочих. Обычно привезенный землекоп умирает через два-три месяца — от гнилой, перезрелой воды и необузданного тропического пейзажа. Поэтому, нанимая людей, их заставляли подписывать контракты на год и ставили над ними вооруженных часовых, чтобы они не вздумали дать стрелкача.

Вот так-то меня обманули тропики, а всему виною наследственный порок — любил совать нос во всякие беспорядки.

Мне вручили кирку, и я взял ее с намерением тут же взбунтоваться, но неподалеку были часовые с винчестерами, и я пришел к заключению, что лучшая черта флибустьера — скромность и умение промолчать, когда следует. В нашей партии было около ста рабочих, и нам приказали двинуться в путь. Я вышел из рядов и подошел к генералу де Вега, который курил сигару и с важностью и удовольствием смотрел по сторонам. Он улыбнулся мне вежливой сатанинской улыбкой.

— В Гватемале, — говорит он, — есть много работы для сильных, рослых людей. Да. Тридцать долларов в месяц. Деньги не маленькие. Да, да. Вы человек сильный и смелый. Теперь уж мы скоро достроим эту железную дорогу. До самой столицы. А сейчас ступайте работать.

Adios, сильный человек!

— Мусью, — говорю я, — скажите мне, бедному ирландцу, одно. Когда я впервые взошел на этот ваш тараканий корабль и дышал свободными революционными чувствами в ваше кислое вино, думали ли вы, что я воспеваю свободу лишь для того, чтобы долбить киркой вашу гнусную железную дорогу? И когда вы отвечали мне патриотическими возгласами, восхваляя усыпанную звездами борьбу

за свободу, замышляли ли вы и тогда принизить меня до уровня этих скованных цепями италяшек, корчующих пни в вашей низкой и подлой стране?

Человечек выпятил свой круглый живот и начал смеяться. Да, он долго смеялся, а я, Клэнси, я стоял и ждал.

— Смешные люди! — закричал он, наконец. — Вы смешите меня до смерти, ей-богу. Я говорил вам одно: трудно найти сильных и смелых людей для работы в моей стране. Революция? Разве я говорил о р-р-революции? Ни одного слова. Я говорил: сильные, рослые люди нужны в Гватемале. Так. Я не виноват, что вы ошиблись. Вы заглянули в один-единственный ящик с винтовками для часовых, и вы подумали, что винтовки во всех. Нет, это не так, вы ошиблись. Гватемала не воюет ни с кем. Но работа? О да. Тридцать долларов в месяц. Возьмите же кирку и ступайте работать для свободы и процветания Гватемалы. Ступайте работать. Вас ждут часовые.

— Ты жирный коричневый пудель, — сказал я спокойно, хотя в душе у меня было негодование и тоска. — Это тебе даром не пройдет. Дай только мне собраться с мыслями, и я найду для тебя отличный ответ.

Начальник приказывает приниматься за работу. Я шагаю вместе с италяшками и слышу, как почтенный патриот и мошенник, весело смеется.

Грустно думать, что восемь недель я проводил железную дорогу для этой непотребной страны. Флибустьерствовал по двенадцати часов в сутки тяжелой киркой и лопатой, вырубая роскошный пейзаж, который был помехой для намеченной линии. Мы работали в болотах, которые издавали такой аромат, как будто лопнула газовая труба, мы топтали ногами самые лучшие и дорогие сорта оранжерейных цветов и овощей. Все кругом было такое тропическое, что не придумать никакому географу. Все деревья были небоскребы; в кустарниках — иголки и булавки; обезьяны так и прыгают кругом, и крокодилы, и краснохвостые дрозды, а нам — стоять по колено в вонючей воде и выкорчевывать пни для освобождения Гватемалы. Вечерами разводили костры, чтобы отвадить москитов, и сидели в густом дыму, а часовые ходили с винтовками. Рабочих было двести человек — по большей части италянцы, негры, испанцы и шведы.

Было три или четыре ирландца.

Один из них, старик Галлоран, — тот мне все объяснил. Он работал уже около года. Большинство умирало, не протянув и шести месяцев. Он высох до хрящей, до костей, и каждую третью ночь его колотил озноб.

— Когда только что приедешь сюда, — рассказывал он, — думаешь: завтра же улепетну. Но в первый месяц у тебя удерживают жалованье для уплаты за проезд на пароходе, а потом, конечно, — ты во власти у тропиков... Тебя окружают сумасшедшие леса и звери с самой дурной репутацией — львы, павианы, анаконды, — и каждый норовит тебя сожрать. Солнце жарит немилосердно, даже мозг в костях тает. Становишься вроде этих пожирателей лотоса, про которых в стихах написано. Забываешь все возвышенные чувства жизни: патриотизм, жажду мести, жажду беспорядка и уважение к чистой рубашке. Делаешь свою работу да глотаешь керосин и резиновые трубки, которые повар-итальяшка называет едой. Закуриваешь папироску и говоришь себе: на будущей неделе уйду непременно, и идешь спать, и зовешь себя лгуном, так как прекрасно знаешь, что никуда не уйдешь.

— Кто этот генерал? — говорю я, — который зовет себя де Вега?

— Он хочет возможно скорее закончить дорогу, — отвечает Галлоран. — Вначале этим занималась одна частная компания, но она лопнула, и тогда за работу взялось правительство. Этот де Вега — большая фигура в политике и хочет быть президентом. А народ хочет, чтобы железная дорога была закончена возможно скорее, потому что с него дерут налоги, и де Вега двигает работу, чтобы угодить избирателям.

— Не в моих привычках, — говорю я, — угрожать человеку мезтью, но Джеймс О'Дауд Клэнси еще предъявит этому железнодорожнику счет.

— Так и я говорил, — отвечает Галлоран с тяжелым вздохом, — пока не отведал этих лотосов. Во всем виноваты тропики. Они выжимают из человека все соки. Это такая страна, где, как сказал поэт, вечно послеобеденный час. Я делаю мою работу, курю мою трубку и сплю. Ведь в жизни ничего другого и нет. Скоро ты и сам это поймешь. Не питай никаких сентиментов, Клэнси.

— Нет, нет, — говорю я. — Моя грудь полна сентиментами. Я записался в революционную армию этой богомерзкой страны, чтобы

сражаться за ее свободу. Вместо этого меня заставляют уродовать ее пейзаж и подрывать ее корни. За это заплатит мне мой генерал!

Два месяца я работал на этой дороге, и только тогда выдался случай бежать.

Как-то раз нескольких человек из нашей партии послали назад, к конечному пункту проложенного пути, чтобы мы привезли в лагерь заступы, которые были отданы в Порт-Барриос к точильщику. Они были доставлены нам на дрезине, и я заметил, что дрезина осталась на рельсах.

В ту ночь, около двенадцати часов, я разбудил Галлорана и сообщил ему свой план побега.

— Убежать? — говорит Галлоран. — Господи боже, Клэнси, неужели ты и вправду затеял бежать? У меня не хватает духу. Очень холодно, и я не выспался. Убежать? Говорю тебе, Клэнси, я объелся этого самого лотоса. А все тропики. Как там у поэта — «Забыл я всех друзей, никто не помнит обо мне; буду жить и покоиться в этой сонной стране». Лучше отправляйся один, Клэнси. А я, пожалуй, останусь. Так рано, и холодно, и мне хочется спать.

Пришлось оставить старика и бежать одному. Я тихонько оделся и выскользнул из палатки. Проходя мимо часового, я сбил его, как кеглю, незрелым кокосовым орехом и кинулся к железной дороге. Всклакиваю на дрезину, пускаю ее в ход и лечу. Еще до рассвета я увидел огни Порт-Барриоса — приблизительно за милю от меня. Я остановил дрезину и направился к городу. Признаюсь, не без робости я шагал по улицам этого города. Войска Гватемалы не пугали меня, а вот при мысли о рукопашной схватке с конторой по найму рабочих сердце замирало. Да, здесь, раз уж попался в лапы, — держись. Так и представляется, что миссис Америка и миссис Гватемала как-нибудь вечером сплетничают через горы. «Ах, знаете, — говорит миссис Америка, — так мне трудно доставать рабочих, сеньора, мэм» просто ужас». — «Да что вы, мэм, — говорит миссис Гватемала, — не может быть! А моим, мэм, так и в голову не приходит уйти от меня, хи-хи».

Я раздумывал, как мне выбраться из этих тропиков, не угодив на новые работы. Хотя было еще темно, я увидел, что в гавани стоит пароход. Дым валил у него из труб. Я свернул в переулок, заросший травой, и вышел на берег. На берегу я увидел негра, который сидел в челноке и собирался отчалить.



— Стой, Самбо! — крикнул я. — По-английски понимаешь?

— Целую кучу... очень много... да! — сказал он с самой любезной улыбкой.

— Что это за корабль и куда он идет? — спрашиваю я у него. — И что нового? И который час?

— Это корабль «Кончита», — отвечает черный человек добродушно, свертывая папироску. — Он приходил за бананы из Новый Орлеан. Прошедшая ночь нагрузился. Через час или через два он снимается с якорь. Теперь будет погода хороший. Вы слышали, в городе, говорят, была большая сражения. Как, по-вашему, генерала де Вега поймана? Да? Нет?

— Что ты болтаешь, Самбо? — говорю я. — Большое сражение? Какое сражение? Кому нужен генерал де Вега? Я был далеко отсюда, на моих собственных золотых рудниках, и вот уже два месяца не слышал никаких новостей.

— О, — тараторит негр, гордясь своим английским языком, — очень большая революция... в Гватемале... одна неделя назад Генерала де Вега, она пробовала быть президент... Она собрала армию — одна, пять, десять тысяч солдат. А правительство послало пять, сорок, сто тысяч солдат, чтобы разбить революцию. Вчера была большая сражения в Ломагранде — отсюда девятнадцать или пятьдесят миль Солдаты правительства так отхлестали генералу де Вегу, — очень, очень Пятьсот, девятьсот, две тысячи солдат генералы де Веги убито. Революция чик — и нет. Генерала де Вега села на большого-большого мула и удрала. Да, саганба! Генерала удрала, и все солдаты генералы убиты. А солдаты правительства ищут генералу де Вегу. Генерала им нужно очень, очень Они хочет ее застрелить. Как, по-вашему, сеньор, поймают они генералу де Вегу?

— Дай бог! — говорю я — Это была бы ему господняя кара за то, что он использовал мой революционный талант для ковыряния в вонючем болоте. Но сейчас, мой милый, меня увлекает не столько вопрос о восстании, сколько стремление спастись из кабалы. Важнее всего для меня сейчас отказаться от высокоответственной должности в департаменте благоустройства вашей великой и униженной родины. Отвези меня в твоём челноке вон на тот пароход, и я дам тебе пять долларов, синка пасе, синка пасе, — говорю я, снисходя к пониманию негра и переводя свои слова на тропический жаргон.

— Cinco pesos, — повторяет черный — Пять долла?

В конце концов он оказался далеко не плохим человеком. Вначале он, конечно, колебался, говорил, что всякий, покидающий эту страну, должен иметь паспорт и бумаги, но потом взялся за весла и повез меня в своем челноке к пароходу.

Когда мы подъехали, стал только-только заниматься рассвет. На борту парохода — ни души. Море было очень тихое. Негр подсадил меня, и я взобрался на нижнюю палубу, там, где выемка для ссыпки фруктов. Люки в трюм были открыты. Я глянул вниз и увидел бананы, почти до самого верха наполнявшие трюм. Я сказал себе: «Клэнси! Ты уж лучше поезжай зайцем Безопаснее. А то как бы пароходное начальство не вернуло тебя в контору по найму. Попадешься ты тропикам, если не будешь глядеть в оба».

После чего я прыгаю тихонько на бананы, выкапываю в них ямку и прячусь. Через час, слышу, загудела машина, пароход закачался, и я чувствую, что мы вышли в открытое море. Люки были открыты у них для вентиляции; скоро в трюме стало довольно светло, и я мог оглядеться. Я почувствовал голод и думаю — почему бы мне не подкрепиться легкой вегетарианской закуской? Я выкарабкался из своей берлоги и приподнял голову. Вижу ползет человек, в десяти шагах от меня, в руке у него банан. Он сдирает с банана шкуру и пихает его себе в рот. Грязный человек, темнолицый, вида гнусного и очень потрепанного — прямо карикатура из юмористического журнала. Я всмотрелся в него и увидел, что это мой генерал — великий революционер, наездник на мулах, поставщик лопат, знаменитый генерал де Вега.

Когда он увидел меня, банан застрял у него в горле, а глаза стали величиною с кокосовые орехи.

— Тсс... — говорю я. — Ни слова! А то нас вытащат отсюда и заставят прогуляться пешком. Вив ля либерте! — шепчу я, запихивая себе в рот банан. Я был уверен, что генерал не узнает меня. Зловредная работа в тропиках изменила мой наружный вид. Лицо мое было покрыто саврасо-рыжеватой щетиной, а костюм состоял из синих штанов да красной рубашки.

— Как вы попали на судно, сеньор? — заговорил генерал, едва к нему вернулся дар речи.

— Вошел с черного хода, вот как, — говорю я. — Мы доблестно сражались за свободу, — продолжал я, — но численностью мы уступали врагу. Примем же наше поражение, как мужчины, и скушаем еще по банану.

— Вы тоже бились за свободу, сеньор? — говорит генерал, поливая бананы слезами.

— До самой последней минуты, — говорю я. — Это я вел последнюю отчаянную атаку против наемников тирана. Но враг обезумел от ярости, и нам пришлось отступить. Это я, генерал, достал вам того мула, на котором вам удалось убежать... Будьте добры, передайте мне ту ветку бананов, она отлично созрела... Мне ее не достать. Спасибо!

— Так вот в чем дело, храбрый патриот, — говорит генерал и пуще заливается слезами. — Ah, dios! И я ничем не могу отблагодарить вас за вашу верность и преданность. Мне еле-еле удалось спастись. Caramba! ваш мул оказался истинным дьяволом. Он швырял меня, как буря швыряет корабль. Вся моя кожа исцарапана терновником и жесткими лианами. Эта чертова скотина терлась о тысячу пней и тем причинила ногам моим немалые бедствия. Ночью приезжаю я в Порт-Барриос. Отделяюсь от подлеца-мула и спешу к морю. На берегу челнок. Отвязываю его и плыву к пароходу. На пароходе никого. Карабкаюсь по веревке, которая спускается с палубы, и зарываюсь в бананах. Если бы капитан корабля увидел меня, он швырнул бы меня назад в Гватемалу. Это было бы очень плохо Гватемала застрелила бы генерала де Вега Поэтому я спрятался, сижу и молчу. Жизнь сама по себе восхитительна. Свобода тоже хороша, никто не спорит, но жизнь, по-моему, еще лучше.

До Нового Орлеана пароход идет три дня. Мы с генералом стали за это время закадычными друзьями. Бананов мы съели столько, что глазам было тошно смотреть на них и глотке было больно их есть. Но все наше меню заключалось в бананах. По ночам я осторожненько выползал на нижнюю палубу и добывал ведро пресной воды.

Этот генерал де Вега был мужчина, обожравшийся словами и фразами. Своими разговорами он еще увеличивал скуку пути. Он думал, что я революционер, принадлежащий к его собственной партии, в которой, как он говорил, было немало иностранцев — из Америки и других концов земли. Это был лукавый хвастунишка и трус, хотя он

сам себя считал героем. Говоря о разгроме своих войск, он жалел одного себя. Ни слова не сказал этот глупый пузырь о других идиотах, которые были расстреляны или умерли из-за его революции.

На второй день он сделался так важен и горд, как будто он не был несчастный беглец, спасенный от смерти ослом и краденными бананами. Он рассказывал мне о великом железнодорожном пути, который собирался достроить, и тут же сообщил мне комический случай с одним простофилей-ирландцем, которого он так хорошо одурачил, что тот покинул Новый Орлеан и поехал в болото, в мертвецкую гниль, работать киркой на узкоколейке. Было больно слушать, когда этот мерзавец рассказывал, как он насыпал соли на хвост неосмотрительной глупой пичуге Клэнси. Он смеялся искренно и долго. Весь так и трясся от хохота чернорожий бунтовщик и бродяга, зарытый по горло в бананы, без родины, без родных и друзей.

— Ах, сеньор, — заливался он, — вы сами хохотали бы до смерти над этим забавным ирландцем. Я говорю ему: «Сильные и рослые мужчины нужны в Гватемале». А он отвечает: «Я отдам все свои силы вашей угнетенной стране». — «Ну, конечно, говорю, отдадите». Ах, такой смешной был ирландец! Он увидел на пристани сломанный ящик, в котором было несколько винтовок для часовых. Он думал — винтовки во всех ящиках. А там были кирки да лопаты. Да Ах, сеньор, посмотрели бы вы на лицо этого ирландца, когда его послали работать!

Так этот бывший агент конторы по найму рабочих усиливал скуку пути шуточками и анекдотами.

А в промежутках он снова орошал бананы слезами, ораторствуя о погибшей свободе и о проклятом муле.

Было приятно слышать, как пароход ударился бортом о ново-орлеанский мол. Скоро мы услышали шлепанье сотни босых ног по сходням, и в трюм вбежали итальянцы — разгружать пароход. Мы с генералом сделали вид, как будто мы тоже грузчики, стали в цепь, чтобы передавать гроздь, а через час незаметно ускользнули с парохода в гавань.

Клэнси выпала честь ухаживать за представителем великой иноземной державы. Первым долгом я раздобыл для него и для себя много выпивки и много еды, в которой не было ни одного банана. Генерал семенил со мною рядом, предоставляя мне заботиться о нем. Я повел его в сквер Лафайета и посадил там на скамью. Еще раньше я

купил ему папирос, и он комфортабельно развалился на скамье, как жирный, самодовольный бродяга. Я посмотрел на него издали, и, признаюсь, его вид доставил мне немалую радость. Он и от природы черный, и душа у него была черная, а тут еще грязь и пыль. По милости мула его платье превратилось в отрепья. Да, Джеймсу Клэнси было очень приятно смотреть на него.

Я спрашиваю у него с деликатностью, не привез ли он из Гватемалы случайно чьих-нибудь денег. Он вздыхает и пожимает плечами, ни цента. Отлично. Он надеется, что его друзья из-под тропиков пришлют ему впоследствии небольшое пособие. Словом, если был на свете нищий безо всяких средств к пропитанию — это был генерал де Вега.

Я попросил его никуда не ходить, а сам отправился на тот перекресток, где стоял мой знакомый полисмен О'Хара. Жду его минут пять, и вот вижу, идет рослый, красивый мужчина, лицо красное, пуговицы так и сияют. Идет и помахивает дубинкой. О, если бы Гватемала была в полицейском участке О'Хары! Раз или два в неделю он подавлял бы тамошние революции дубинкой — просто для развлечения, играючи. Я подошел к нему и без дальних предисловий спросил:

— Что, статья 5046 еще действует?

— Действует с утра до поздней ночи! — отвечает О'Хара и смотрит на меня подозрительно. — По-твоему, она подходит к тебе?

Статья 5046 была знаменитая статья городского устава, подвергающая аресту и тюремному заключению лиц, скрывших от полиции свои преступления.

— Что, не узнал Джимми Клэнси? — говорю я. — Ах ты, чудовище красножаброе!

Когда О'Хара распознал меня под той скандальной внешностью, которой наделили меня тропики, я втолкнул его в какой-то подъезд и рассказал ему все, что мне нужно и почему.

— Отлично, Джимми! — говорит О'Хара. — Воротись назад и садись на скамейку. Я приду через десять минут.

Вот идет О'Хара по скверу Лафайета и видит: два босняка оскорбляют своим видом скамейку, на которой они сидят. Еще через десять минут Джимми Клэнси и генерал де Вега, вчерашний кандидат в президенты республики, оказываются в полицейском участке.

Генерал испуган, он говорит о своих высоких орденах и чинах и ссылается на меня как на свидетеля.

— Этот человек, — говорю я, — был железнодорожным агентом. Но его прогнали. Он потерял должность, и теперь он просто сумасшедший.

— Caramba! — говорит генерал, шипя, как сифон с сельтерской. — Ведь вы сражались в рядах моего войска, сеньор, почему же вы говорите неправду? Вы должны сказать, что я генерал де Вега, солдат, caballero.

— Железнодорожный агент! — говорю я опять — За душой ни цента. Темная личность. Три дня питался крадеными бананами. Посмотрите на него. Сами убедитесь.

Двадцать пять долларов штрафа или шестьдесят дней заключения закатили генералу в участке. Денег у него не было, пришлось посидеть. А меня отпустили! Я знал, что меня не задержат при мне были деньги, да и О'Хара шепнул обо мне два-три слова. Да! На два месяца засадили его. Ровно столько времени ковырял я киркой великую республику Кам... Гватемалу.

Клэнси замолчал. При ярком сиянии звезд было видно, что в его взоре, устремленном в былое, светятся довольство и счастье. Кьюо откинулся на спинку стула и хлопнул своего товарища по еле прикрытой спине.

— Расскажи ты им, дьявол этакий, — сказал он, хихикая, — как ты сквитался с этим генералом на почве земледельческих махинаций.

— Так как у генерала не было денег, — заговорил Клэнси с большим удовольствием, — то для того, чтобы получить с него штраф, полиция заставила его работать, с партией других арестантов, по уборке улицы Урсулинок. За углом находился салун, художественно убранный электрическими вентиляторами и холодными напитками. Я сделал этот салун своей главной квартирой и каждые четверть часа выбегал оттуда на улицу поглядеть на маленького человека, флибустьерствующего граблями и лопатой. Жара стояла страшная, не меньше, чем сейчас.

— Эй, мусью! — кричал я ему, и он смотрел на меня, злой, как черт; на рубашке у него были мокрые пятна.

— Жирные, здоровые люди, — говорил я генералу де Вега, — очень нужны в Новом Орлеане. Да, им предстоит великая работа.

Сарамба! Да здравствует Ирландия!

## XI. Остатки кодекса чести

В Коралио завтракают не раньше одиннадцати. Поэтому на рынок уходят поздно. Маленькое деревянное строение крытого рынка стоит на короткой, подстриженной травке под ярко-зеленой листвой хлебного дерева.

Однажды утром в обычный час пришли на рынок торговцы и принесли с собой свои товары. Здание рынка со всех сторон окружала галерея в шесть футов шириной, защищенная от полуденного зноя соломенной крышей, далеко выступавшей над стенами. Обычно на этой галерее торговцы раскладывали свои товары — свежую говядину, рыбу, крабов, фрукты, кассаву<sup>[47]</sup>, яйца, сласти и высокие дрожащие груды маисовых лепешек, каждая такой ширины, как сомбреро испанского гранда.

Но в это утро те торговцы, которые занимали площадку, обращенную к морю, не разложили товаров, а сбились в кучу и, размахивая руками, негромко залопотали о чем-то. Потому что там, на галерее, лежала объятая сном — нисколько не прекрасная — фигура Блайта-Вельзевула. Он покоился на измызганном кокосовом коврике, больше чем когда-либо похожий на падшего ангела. Его грубый полотняный костюм, весь испачканный, разодранный по швам, был испещрен тысячами всевозможных морщин и так нелепо облекал его туловище, словно Вельзевул был не человек, а чучело, на которое забавы ради напялили одежду, а потом, когда вдоволь наиздевались над ним, бросили. Но непоколебимо на его переносице сверкало золотое пенсне — единственный уцелевший знак его бывшего величия.

Лучи солнца, отразившиеся в мелкой ряби моря и заигравшие на лице Вельзевула, а также голоса рыночных торговцев разбудили его. Он приподнялся на своем ложе, мигая глазами, оперся о стену рынка. Вынув из кармана злокачественный шелковый носовой платок, он тщательно протер и отполировал пенсне. И постепенно ему стало ясно, что в его спальне чужие и что учтивые бурые и желтые люди умоляют именно его уступить свое ложе товарам.

— Если сеньор будет так добр... Тысяча извинений за беспокойство... но скоро придут покупатели... покупать провизию...



Десять тысяч горьких сожалений, что пришлось потревожить сеньора!

В таком стиле они возвещали ему, что он должен убраться и не тормозить колес торговли.

Блайт покинул площадку с видом принца, покидающего осененное великолепным балдахином ложе. Этого вида он не терял никогда, даже в периоды самого глубокого падения. Всякому ясно, что курс нравственности не обязателен в программе аристократического образования.

Блайт почистил свой измятый костюм и медленно зашагал по горячим пескам Калье Гранде. Куда он идет, он не знал. Городок лениво предавался своим повседневным занятиям. В траве копошились младенцы с золотистыми телами. Морской ветер навевал ему аппетит, но не навевал средств для утоления оного. Как всегда по утрам, Коралио был полон тяжелым запахом тропических цветов, и запахом печеного хлеба, приготовляемого тут же, на улице, и запахом дыма от глиняных печек. В тех местах, где не было дыма, виднелись горы, и казалось, что хрустальный воздух, обладая могуществом евангельской веры, придвинул их почти к самому морю, — придвинул так близко, что можно было сосчитать все скалистые прогалины на покрытых лесами склонах. Легконогие караибы спешили на берег к ежедневным трудам. Уже среди кустов, по тропинкам, медленно спускались лошади одна за другою — от банановых плантаций к морю. Видны были только их головы да ноги. Все остальное было прикрыто огромными связками золотисто-зеленых плодов, свешивающихся у них со спины. На порогах сидели женщины и расчесывали длинные черные волосы, перекликаясь друг с другом через узкую улицу. В Коралио царил покой — скучный, выжженный зноем, но все же покой.

В это яркое, ясное утро, когда Природа, казалось, подавала лотос забвения на золотой тарелке Рассвета, Блайт-Вельзевул докатился до дна. Дальше падать было уже некуда. Ночевка на базаре опозорила его окончательно. Покуда у него над головой был кров, все еще оставалось что-то, отличающее джентльмена от лесного зверя и птиц поднебесных. Но теперь он — жалкая устрица, которую ведут на съедение по песчаному берегу Южного моря хитрый Морж — Случай, и безжалостный Плотник — Судьба.<sup>[48]</sup>

Деньги давно уже были для Блайта легендой. Он выкачал из своих приятелей все, что их дружба могла ему дать; потом он выжал до последней капли то, что могло дать ему их великодушие, и, наконец, подобно Аарону, выбил из их затвердевших сердец, как из камня, скудные капли унижительной милостыни.

Он истощил свой кредит до последнего реала. С той ясной отчетливостью, которая отличает ум потерявшего стыд паразита, он знал наперечет все места в Коралио, где можно раздобыть стакан рома, порцию съестного, серебряную монетку. Теперь он перебирал в уме все эти источники благ, вникая в них с тем прилежным вниманием, которое дается лишь жаждой и голодом. Весь его оптимизм не мог найти ни зерна надежды в мякине его жизненных планов. Игра сыграна. Эта ночевка на улице доконала его. До сих пор он мог просить займы. Теперь он может только попрошайничать. Самая наглая софистика бессильна была бы назвать возвышенным именем ссуды монету, небрежно швыряемую в лицо шалопаю, который ночует на голых досках, базара.

Но в это утро он, как последний нищий, с благодарностью принял бы любое подаяние, ибо демон жажды схватил его за горло, — демон утренней жажды привычного пьяницы, требующей утоления на каждой станции по пути в геенну огненную.

Блайт медленно шел по улице, зорко высматривая какое-то чудо, которое пошлет манну в его пустыню. Проходя мимо простонародной харчевни мадамы Васкес, он увидел, как завсегдатаи этой харчевни сидят за столом и поглощают ломти свежее испеченного хлеба, авокадо, ананасы и очаровательный кофе, аромат которого свидетельствовал о его отменных достоинствах. Мадама прислуживала за столом; отвернувшись на мгновение к окну и кинув на улицу робкий, бессмысленный, меланхолический взор, она увидела Блайта; взгляд ее стал еще более смущенным и робким. Вельзевул был должен ей двадцать песо. Он поклонился ей так, как некогда кланялся менее робким дамам, которым ничего не был должен, и пошел дальше.

Купцы и их подручные открывали массивные деревянные двери магазинов. Вежливы, но холодны были их взоры, когда они смотрели на Блайта, как он гордо шагает по улице, с остатками своей прежней элегантной осанки, потому что они все без изъятия были его кредиторами.

На площади у фонтана он совершил туалет при помощи смоченного в воде носового платка.

По площади тянулась печальная вереница людей. То были друзья заключенных в тюрьме; они несли арестантам их утренний завтрак. Пища не возбудила в Блайте никаких вожделений. Ему нужна была не пища, но выпивка или монета для ее приобретения.

По дороге ему встретилось немало людей, которые некогда были его друзьями и близкими. Но у всех у них он уже истощил и терпение и щедрость. Уиллард Джедди и Паула проскакали мимо него, возвращаясь с ежедневной прогулки верхом по старой индейской дороге, и ответили ему самым холодным поклоном. На другом углу ему встретился Кьюу, который шел, весело насвистывая и неся, словно приз, свежие яйца на завтрак себе и Клэнси. Лихой искатель счастья был одной из жертв Блайта; чаще всех он опускал руку в карман, чтобы дать Вельзевулу подачку. Но теперь оказалось, что даже он забаррикадировался против дальнейших вторжений. Его небрежный поклон и зловещий блеск в серых больших глазах заставили Вельзевулу ускорить шаги, хотя за минуту до этого он помышлял о добавочном «займе».

После этого злосчастный отверженец посетил три пивные одну за другой. Во всех трех его деньги и его кредит давно уже были истрачены; но сегодня Блайт готов был валяться в ногах у самого лютого врага за один глоток *aguardiente*. В двух пульпериях его дерзкие просьбы встретили такой учтивый отказ, что эта учтивость показалась обиднее ругани. Третье заведение усвоило себе американские методы: посетителя схватили за шиворот и дали ему такого пинка, что он вылетел на улицу и упал на колени.

Физическое оскорбление изменило его самым неожиданным образом. Когда он встал с колен и пошел дальше, весь облик его выражал полное и абсолютное спокойствие. Та искательная и притворная улыбка, которая словно застыла у него на лице, сменилась упорной и злобной решимостью. До сих пор Вельзевул барахтался в море бесчестия, держась за веревочку, которая соединяла его с порядочным обществом, вышвырнувшим его за борт. И вот он почувствовал, что эту веревочку внезапно выдернули у него из рук, и на него снизошло то блаженное спокойствие духа, которое испытывает

всякий пловец, когда, утомившись бороться с волнами, он видит, что ему осталось одно: утонуть.

Блайт отошел к ближайшему углу, счистил там со своего костюма песок и протер стекла пенсне.

— Ничего другого не осталось, — сказал он вслух самому себе. — Будь у меня бутылка рома, я бы подождал еще немного. Но для Вельзевула, как они называют меня, рома нет больше нигде. Клянусь пламенем Тартара... Если меня сажают по правую руку самого сатаны, кто-нибудь должен платить за эту царственную роскошь. Придется расплачиваться вам, мистер Франк Гудвин. Вы славный мальчик, я знаю, но нельзя же, чтобы джентльмена выбрасывали из питейной на улицу. Шантаж — нехорошее слово, но шантаж есть ближайшая станция на той дороге, по которой я теперь путешествую.

Решительной поступью Блайт зашагал через город, держась наиболее удаленных от моря окраин. Он миновал грязные домишки беззаботных негров и живописные лачуги беднейших метисов; по пути он то и дело, со многих улиц, видел сквозь тенистые просеки дом Франка Гудвина в роще на холме. И когда он шел по мостику через болото, он видел старого индейца Гальвеса, скребущего деревянную колоду, на которой было выжжено имя президента Мирафлореса. За болотом по склону горы начинались владения Гудвина. Заросшая травой дорога вилась от края банановой рощи к дому. Тропические деревья самого разнообразного вида давали ей обильную тень. Блайт пошел по этой дороге, шагая широко и решительно.

Гудвин сидел на той галерее, где было прохладнее, и диктовал письма своему секретарю, местному уроженцу, способному юноше с болезненно желтым лицом. В доме завтракали по-американски рано. Прошло уже больше получаса с тех пор, как Гудвин встал из-за стола.

Отверженный подошел к ступенькам и помахал рукой.

— Доброе утро, Блайт, — сказал Гудвин. — Входите и садитесь. У вас есть ко мне дело?

— Мне нужно поговорить с вами наедине.

Гудвин сделал знак секретарю; тот вышел в сад, стал под манговым деревом и закурил папиросу. Блайт сел на освободившийся стул.

— Мне нужны деньги, — сказал он отрывисто и хмуро.

— Извините, пожалуйста, — сказал Гудвин, — но денег я вам не дам. Вы сопьетесь до смерти. Ваши друзья делали все, что могли,

чтобы поставить вас на ноги, но их помощь шла вам во вред: вы сами губили себя. Больше денег вам давать нельзя.

— Милый человек, — сказал Блайт, откачнувшись назад вместе с креслом, — оставим политическую экономию в покое. Я говорю о другом. Я люблю вас, Гудвин, но я пришел всадить вам нож между ребер. Сегодня меня выгнали из салуна Эспады, и я хочу, чтобы общество заплатило мне за нанесенное оскорбление.

— Но ведь выгнал вас не я.

— Все равно: вы представитель общества, и в частности вы моя последняя надежда. Что делать! Не нравится мне эта история, но иного пути нет. Еще месяц тому назад, когда здесь был секретарь Лосады, я попробовал это сделать, но тогда я не мог. Тогда я не мог. А теперь могу. Теперь времена другие. Мне нужна тысяча долларов, Гудвин, и вам придется выдать мне эти деньги немедленно.

— Только на прошлой неделе вы просили не больше одного серебряного доллара, — сказал Гудвин с улыбкой.

— Что доказывает, — нахально подхватил Блайт, — что даже в тисках нищеты я все еще сохранял благородство. Согласитесь, что какого-то несчастного мексиканского доллара мало, чтобы заплатить за грех. Будем же говорить, как деловые люди. Я негодяй из третьего акта пьесы. Мне подобает полный, хоть и временный триумф. Я видел, как вы зажали в кулак чемоданчик покойного президента с монетой. О, я знаю, это шантаж; но зато я недорого беру. Я знаю, я дешевый негодяй, прямо из мелодрамы, но так как вы мой душевный приятель, я не хочу выжимать из вас последние соки.

— А не можете ли вы поподробнее? — сказал Гудвин, спокойно разбирая письма у себя на столе.

— С удовольствием, — сказал Блайт. — Мне нравится, как вы относитесь к делу Театральщина мне ненавистна, и я предупреждаю заранее, что в моем рассказе не будет ни фейерверков, ни бенгальских огней, ни фиоритур на саксофоне.

В ту ночь, когда беглое превосходительство прибыло в город, я был очень пьян. Мне простительно гордиться этим фактом, ибо я достигаю такого блаженства не часто. Кто-то поставил скамью под апельсиновыми деревьями в садике мадамы Ортис. Я перелез через ограду, лег и заснул. Разбудил меня апельсин, который упал мне на нос. Я очень рассердился и стал проклинать сэра Исаака Ньютона —

или как его звали? — за то, что, выдумав притяжение земли, он не ограничил своей теории яблоками.

А тут прибыл мистер Мирафлорес со своей возлюбленной и с деньгой в саквояже и прошел в отель. Вскоре явились вы и завели разговор с артистом парикмахерского цеха, который обязательно желал разговаривать на профессиональные темы, хоть время уже было не рабочее. Я пытался заснуть опять, но меня опять разбудили, на этот раз выстрелом из пистолета во втором этаже. А через минуту, смотрю, на меня летит саквояж и застревает в ветвях моего апельсинового дерева. Я встаю и думаю: уж не чемоданный ли дождь? Но тут со всего города сбежалась полиция, армия в орденах и медалях, наскоро приколотых к пижамам, с обнаженными ножиками, и я предпочел затаиться под тенью благодетельных бананов. Там я просидел около часа, к этому времени все успокоилось. И тогда, мой милый Гудвин, — простите, пожалуйста, — я видел, как вы пробрались в сад и тихомолком сорвали с апельсинового дерева этот спелый, сочный саквояж. Я поплелся за вами и видел, как вы внесли его к себе в дом. Чтобы единственное апельсиновое дерево в один сезон принесло такой огромный урожай — сто тысяч долларов чистого дохода — это ли не рекорд для фруктовой промышленности?

В то время я был еще джентльменом и, конечно, не сказал никому ни слова. Но сегодня меня выгнали из питейной, у меня нет больше ни чести, ни совести; сегодня я продал бы за рюмку коньяку молитвенник моей матери! Я не ставлю вам тяжелых условий... Я прошу только тысячу долларов за то, что во время всей вашей кутерьмы я спал непробудным сном и ничего не видел.

Гудвин распечатал еще два письма и сделал на них карандашные пометки. Потом он кликнул секретаря.

— Мануэль!

Секретарь мгновенно появился.

— Когда отходит «Ариэль»? — спросил Гудвин.

— Сеньор, — ответил молодой человек, — сегодня в три. Он зайдет еще в порт Соледад за дополнительным грузом, а оттуда прямо в Новый Орлеан.

— Вуено, — сказал Гудвин. — Эти письма могут подождать.

Секретарь снова удалился под манговое дерево к своей папиресе.

— Круглым счетом, — спросил Гудвин, глядя прямо в лицо Вельзевулу, — сколько денег вы должны в этом городе, не считая тех, которые вы «брали займы» у меня?

— Долларов пятьсот приблизительно, — ответил, не задумываясь, Блайт.

— Ступайте в город и составьте там точный список всех ваших долгов. Этот список принесите мне через два часа, и я пошлю Мануэля с деньгами, чтобы он заплатил все до последнего гроша. Я также распорядюсь, чтобы вам купили приличный костюм. Вы уедете на «Ариэле» в три Мануэль проводит вас к самому судну, и, перед тем как оно тронется в путь, он вручит вам тысячу долларов. Но, надеюсь, вы понимаете сами, что за это...

— Вполне понимаю! — весело выкрикнул Блайт. — Всю ту ночь я проспал без просыпу под апельсиновым деревом мадамы Ортис и теперь должен навеки отряхнуть от себя прах Коралио. Не беспокойтесь, я выполню свое обязательство честно. Лотоса мне больше не есть. Ваше предложение отличное, и сами вы отличный человек и дешево отделались. Я подчиняюсь всем вашим условиям. Но покуда... у меня страшная жажда... и, милый Гудвин...

— Не дам ни реала, — твердо сказал Гудвин, — покуда вы не сядете на пароход. Если вам дать деньги сейчас, вы через полчаса так напьетесь...

Но тут Гудвин всмотрелся в покрасневшие глаза Вельзевула, увидел, как дрожат у него руки и какой он весь расхлябанный. Он шагнул через стеклянную дверь террасы в столовую и вынес оттуда стакан и графинчик водки.

— Выпейте покуда, на дорогу! — сказал он, угощая шантажиста, как своего лучшего друга.

У Блайта-Вельзевула даже глаза заблестели при виде той благодати, по которой все утро томилась его душа. Сегодня в первый раз его отравленные нервы не получили той установленной дозы, которая была им нужна. И в отместку они мучили его жестоко. Он схватил графин, и хрустальное горлышко застучало об стакан в его дрожащих руках. Он налил полный стакан и встал навтыжку, держа стакан перед собою в руке. На минуту ему удалось высунуть голову из заливающих его гибельных волн. Он небрежно кивнул Гудвину, поднес стакан ко рту и пробормотал. «Ваше здоровье», соблюдая древний ритуал своего

потерянного рая. А потом, так внезапно, что вино расплескалось у него по руке, он отставил стакан, не отпив ни единого глотка.

— Через два часа, — прошептал он Гудвину сухими губами, сходя вниз по ступенькам и направляя стопы свои в город.

Дойдя до тенистой банановой рощи, Вельзевул остановился и туже затянул пояс.

— Этого я сделать не мог, — лихорадочно сказал он, обращаясь к верхушкам банановых деревьев. — Хотел, но не мог. Джентльмен не может пить с человеком, которого он шантажирует.



## XII. Башмаки

Джон де Граффенрид Этвуд обедался лотосом сверх всякой меры: ел корни, стебли и цветы. Тропики околдовали его. С энтузиазмом принялся он за работу, а работа у него была одна: забыть во что бы то ни стало Розину.

Те, кто обедаются лотосом, никогда не вкушают его без приправы. А приправа к нему — подливка *au diable*, и изготавливают ее водочные заводы. Все вечера Джонни и Билли Кьюу проводили за бутылкой на террасе консульского домика, так громко распевая непристойные песни, что прохожие туземцы только пожимали плечами и бормотали что-то по поводу «*Americanos diablos*».

Однажды слуга принес Джонни почту и положил ее на стол. Джонни протянул руку с гамака и меланхолически взял четыре или пять писем. Кьюу сидел на столе и от нечего делать отрубал разрезным ножом ноги у большой сороконожки, которая ползла среди бумаг. Джонни находился в той стадии обеда лотосом, когда все слова отдают горечью.

— Все то же!.. — роптал он. — Идиоты! Пишут мне письма, задают вопросы об этой стране. Все желают узнать, как им устроить плантации и как нажить миллионы, не затрачивая никакого труда. Многие даже марок на ответ не прилагают. Они думают, у консула нет другого дела, как только писать им письма. Распечатайте конверты, мой милый, и прочитайте, в чем дело, а мне что-то лень.

Кьюу, который так обжился среди тропиков, что они уже не могли испортить ему настроения, придвинул стул к столу и с покладистой улыбкой на румяном лице стал разбирать корреспонденцию консула. Четыре письма были из разных концов Соединенных Штатов, от лиц, очевидно, смотревших на консула в Коралию как на некий энциклопедический словарь. Они присылали ему длинные столбцы всевозможных вопросов — каждый вопрос за особым номером — и требовали сведений о климате, естественных богатствах, статистических данных, возможностях, законах и перспективах страны, где консул имел честь быть представителем их государства.

— Каждому напишите, пожалуйста, Билли, — сказал апатично консул, — одну строчку, не больше: «Смотрите последний отчет коралийского консульства». Да прибавьте, что всякие беллетристические подробности им с радостью сообщат в государственном департаменте. И подпишите мое имя. Вот и все. И, пожалуйста, не скрипите пером: это не дает мне заснуть.

— Если вы не будете храпеть, — сказал благодушный Кьюу, — я сделаю за вас всю работу. Вам нужен целый штат секретарей, я и вообразить не могу, как вы справились с вашим отчетом. Проснитесь на минуту! Вот еще одно письмо — оно из вашего родного города, из Дэйлсбурга.

— Да? — протянул Джонни, обнаруживая снисходительное любопытство. — О чем оно?

— Пишет почтмейстер, — пояснил Кьюу. — Он говорит, что один из его сограждан хотел бы воспользоваться вашими советами и опытом. Этот человек не прочь приехать сюда, чтобы открыть здесь башмачный магазин. И ему хотелось бы знать, выгодное ли это предприятие. Он, видите ли, слышал, что для наживы тут места благодатные, и хочет воспользоваться.

Джонни жестоко страдал от жары, состояние духа у него было убийственное, и все же его гамак так и затрясся от хохота. Кьюу тоже не мог удержаться от смеха; и ручная обезьяна, сидевшая на самой верхней книжной полке, тоже отнеслась иронически к этому письму из провинции: захихикала пронзительным голосом.

— Боже милосердный! — крикнул консул. — Башмачный магазин! Что еще придумают эти ослы? Мастерскую меховых изделий? Ну-ка, Билли, скажите на милость, сколько человек из наших трех тысяч жителей когда-нибудь надевали башмаки, а?

Кьюу задумался.

— Сколько человек? Погодите... Вы да я...

— Нет, не я! — сказал Джонни и вытянул ноги, облаченные в истоптанные туфли. — Я не был жертвой башмаков уже несколько месяцев.

— Но все же у вас они есть, — возразил Кьюу. — Дальше: Гудвин, Бланшар, Джедди, старый Лютц, доктор Грэгг, и этот... как его? итальянец... агент по закупке бананов... и старик Дельгадо... впрочем, нет, он носит сандалии. Ну, кто еще? Мадам Ортис, хозяйка

гостиницы. На вчерашней baile<sup>[49]</sup> я видел у нее на ногах красные козловые туфельки. И ее дочка, мисс Паса... ну та училась в Штатах и знает, что такое культурная обувь... Кто же еще? Сестра comandante; по большим праздникам она действительно носит ботинки. И миссис Джедди: у нее номер тридцать третий, с высоким подъемом. А больше, кажется, нет никого. Стойте, а солдаты? Впрочем, нет, им обувь полагается только в походе, а в казармах они все босиком.

— Правильно, — согласился консул. — Из трех тысяч человек едва ли двадцать чувствовали когда-нибудь прикосновение кожи к ногам. О да! Коралио самое подходящее место для продажи обуви... если, конечно, торговец не желает расстаться со своим товаром. Нет, это, должно быть, написано в шутку. Просто дядя Паттерсон хотел рассмешить меня. Он всегда считал себя большим остряком. Напишите ему письмо, Билли, я продиктую. Мы покажем ему, что мы тоже умеем шутить!

Кью обмакнул перо и стал писать под диктовку Джонни. Были большие паузы, бутылка и стаканы путешествовали от одного к другому, и в результате получилось такое послание:

*«Мистеру Обедайя Паттерсону,  
Дэйлсбург, штат Алабама.  
Милостивый государь,*

*В ответ на ваше уважаемое письмо от 2 июня с. г. честь имею уведомить вас, что, по моему убеждению, на всем земном шаре нет другого места, где первоклассная обувная торговля имела бы больше шансов на успех, чем именно город Коралио. В этом городе 3000 жителей, и ни одного магазина обуви! Положение говорит само за себя. Наше побережье понемногу становится ареной деятельности предприимчивых коммерсантов, но, к великому сожалению, башмачное дело до сих пор не привлекло никого. Подавляющее большинство обитателей города до сих пор обходится без обуви.*

*Но эта нужда не единственная. Есть много других неудовлетворенных потребностей. Настоятельно необходимы: пивоваренный завод, институт высшей математики, уголь для отопления домов, а также кукольный театр с участием Панча и Джуды<sup>[50]</sup>.*

*Остаюсь ваш покорный слуга*

*Джон де Граффенрид Эвуд,  
Консул Соединенных Штатов  
в Коралио!*

*Р. С. Дядя Паттерсон, ау! Наш городишко еще не провалился  
сквозь землю? Что бы делало правительство без нас с вами? Ждите,  
на днях я пришлю вам попугая с зеленой головкой и пучок бананов.*

*Ваш старый приятель  
Джонни».*

— Я сделал эту приписку, чтобы дядюшка не принял мое послание всерьез и не обиделся бы за официальный тон. Теперь, Билли, запечатайте письма и дайте их Панчо: пусть отнесет на почту. Завтра «Ариадна» увезет почту, если успеет сегодня закончить погрузку.

Вечерняя программа Коралио — всегда одна и та же. Развлечения снотворны и скучны. Люди слоняются без цели, босые, вяло болтают друг с другом. В зубах у них сигара или папироса. Глядя вниз на слабо освещенные улицы, можно подумать, что там беспорядочно движутся черномазые призраки и спятившие с ума светляки. Треньканье заунывной гитары усугубляет ночную тоску. Гигантские лягушки сидят на деревьях и квакают оглушительно, как трещотки в негритянском оркестре. Около десяти часов на улицах уже нет никого.

В консульстве царила такая же рутина. Каждый вечер появлялся Кьюу — посидеть в самом прохладном месте города, на веранде консульского дома.

Графинчик водки скоро приходил в движение, и около полуночи в сердце изгнанника-консула начинали пробуждаться сентименты. Тогда он излагал Кьюу свою любовную историю, завершившуюся таким печальным концом.

И каждый вечер Кьюу безропотно выслушивал друга, не уставая выражать ему сочувствие.

Свои ламентации Джонни неизменно заканчивал так:

— Но, ради бога, не думайте, что у меня сохранились какие-нибудь чувства к этой девушке. Я никогда не вспоминаю о ней. Мне нет до нее дела. Если бы она сейчас вошла в эту дверь, пульс у меня бился бы так же спокойно. Это все в прошлом.

— Еще бы! — отвечал Кьюу. — Не сомневаюсь, что вы забыли ее. Таких и надо забывать. С ее стороны было даже совсем некрасиво

поддаться на удочку этого грубияна... Динка Поусона.

— Пинка Доусона! — произносил Джонни тоном величайшего презрения. — Ничтожество. Я считаю его полным ничтожеством. Но у него была земля, пятьсот акров, и потому его сочли достойным. Погодите, я еще с ним сквитаюсь. Кто такие Доусоны? Никто. А Этвуды известны по всей Алабаме. Скажите, Билли, знаете ли вы, что моя мать — урожденная де Граффенрид?

— Нет, — отвечал неизменно Кьюу. — Неужели?

Он слышал об этом обстоятельстве никак не меньше трехсот раз.

— Факт! Де Граффенрид из округа Хэнкок... Но об этой девушке я больше не думаю. Я выкинул ее из головы. Не так ли, Билли?

— Так, так, — поддакивал Кьюу, и это было последнее, что слышал победитель Купидона.

На этой реплике Джонни обычно погружался в легкий сон, а Кьюу покидал террасу и брел через площадь в свою хижину под тыквенным деревом.

Через два-три дня коралийские изгнанники забыли письмо почтмейстера. Забыли они и свой забавный ответ на него. Но двадцать шестого июня плод этого ответа появился на древе событий.

В коралийские воды прибыл пароход «Андадор», совершавший регулярные рейсы. Он стал на якорь за милю от города. Побережье было усеяно зрителями. Карантинный доктор и таможенные отбыли в шлюпке на судно.

Через час Билли Кьюу вошел в консульство, сверкая белоснежным костюмом и ухмыляясь, как довольная акула.

— Что я вам скажу? Угадajte? — сказал он консулу, разлегшемуся в гамаке.

— Куда там угадывать в такую жару, — лениво промямлил консул.

— Приехал ваш человек с сапогами, тот самый, — медленно заговорил Кьюу, с удовольствием ворочая на языке этот сладкий леденец. — И привез с собой столько сапог, что хватило бы на весь континент — до Огненной Земли. Сейчас их перевозят на таможду. Шесть лодок, переполненных доверху, уже привезли и уехали за новой партией Святители небесные! Вот будет дело, когда он поймет вашу шутку и придет побеседовать с вами, мистер консул. Стоило прокорпеть в тропиках девять лет, чтобы дождаться такого веселого зрелища.

Кью любил веселиться с комфортом. Он выбрал чистое место на коврике и повалился на пол. Стены дрожали от его удовольствия.

Джонни повернулся к нему и, мигая глазами, сказал:

— Неужели нашелся такой идиот, который принял мое письмо всерьез?

— Товару на четыре тысячи долларов! — захлебывался Кью в экстазе. — Привез бы уголь в Ньюкасл! Или пальмовые веера на Шпицберген. Я видел старого чудака на взморье. Посмотрели бы вы на него, когда он вздел себе на нос очки и разглядывал босые ноги туземцев. Пятьсот человек, и все босиком!

— И это правда? — спросил консул слабым голосом.

— Правда? Вы посмотрели бы, какую дочку привез с собой этот околпаченный гражданин. Красота! Рядом с нею кирпичные лица наших сеньорит показались черными, как вакса.

— Дальше! Рассказывайте дальше, — сказал Джонни, — если только вы способны прекратить ваше ослиное ржанье. Терпеть не могу, когда взрослый человек гогочет, как гиена!

— Зовут его Гемстеттер, — продолжал Кью. — Он... ах, что это с вами?

Джонни стукнул подошвами об пол и выкарабкался из гамака.

— Да встаньте вы, идиот, — закричал он в сердцах, — или я размозжу вам голову этой чернильницей! Ведь это Розина и ее отец. Ах, боже мой, что за болван этот старый почтмейстер! Ну встаньте же, Билли Кью, и помогите мне. Что же нам делать? Или весь мир сошел с ума?

Кью поднялся и стряхнул с себя пыль. Кое-как ему удалось придать себе благопристойный вид.

— Нужно что-нибудь предпринять, Джонни, — сказал он, с трудом переходя на серьезный тон. — Я ведь не думал, что это ваша возлюбленная. Раньше всего нужно найти им квартиру. Вы идите на берег, встречайте гостей, а я сбегаю к Гудвину может быть, миссис Гудвин приютит их у себя. Ведь у них лучший дом во всем Коралио.

— Милый Билли! — сказал консул. — Я знал, что вы не оставите меня. Наступил конец света, в этом нет никакого сомнения, но попробуем отсрочить катастрофу... на день или на два.

Кью раскрыл зонтик и направился к дому Гудвина. Джонни надел пиджак и шляпу. Он схватил было графинчик с водкой, но поставил его

снова на стол, не отпив ни глотка, и смело двинулся к берегу.

Он нашел мистера Гемстеттера и его дочь в холодке, у таможни. Окружавшая их толпа молча глазела на них. Таможенные чиновники кланялись и расшаркивались, в то время как капитан «Андадора» переводил им, с какой целью эти люди приехали в Коралию. Розина была, по-видимому, в полном здоровье, она с веселым интересом рассматривала все вокруг. Все было так ново! Ее круглые щеки чуть-чуть покраснели, когда она увидела своего бывшего поклонника. Мистер Гемстеттер пожал ему руку весьма дружелюбно. Это был пожилой человек без всяких житейских талантов, один из тех многочисленных неудачников, дельцов-непосед, которые никогда не бывают довольны и вечно мечтают о чем-нибудь новом.

— Очень рад вас видеть, милый Джон. Можно называть вас просто Джоном! — сказал он. — Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы так скоро ответили на запрос нашего почтмейстера. Он был очень любезен, — предложил похлопотать обо мне. Он знал, что я ищу себе такое дело, где прибыль была бы побольше. Я читал в газетах, что здешние места привлекают много капиталов. Спасибо за ваш совет. Я продал все, что имел, и купил вот эти башмаки. Хорошие башмаки, первый сорт Живописный у вас городишко, Джон! Я надеюсь, что дела у меня пойдут превосходно. Судя по вашему письму, спрос на обувь здесь будет огромный.

Страдания злополучного консула вскоре, к счастью, прекратил Кьюу, появившийся с известием, что миссис Гудвин будет очень рада предоставить комнаты в своем доме мистеру Гемстеттеру и его дочери. Туда-то и были отведены новоприезжие. Там их и оставили: пусть отдыхают с дороги. Консул пошел последить, чтобы обувь пока что, в ожидании досмотра, убрали в таможенный склад. Кьюу, улыбаясь, как акула, побежал по городу, разыскивать Гудвина и внушить ему, чтобы он не открывал своему гостю, каковы истинные перспективы башмачной торговли в Коралию, пока Джонни не придумает что-нибудь, чтобы спасти положение, если это вообще возможно.

Вечером у Кьюу с консулом состоялся на подветренной террасе отчаянный военный совет.

— Отправьте их домой, — начал Кьюу, читая у консула в мыслях.

— Отправил бы, — сказал Джонни помолчав, — только, Билли, дело в том, что я все это время безбожно обманывал вас.

— Это ничего, — сказал покладистый Кьюу.

— Я говорил вам сто раз, — медленно продолжал Джонни, — что я забыл эту девушку, выбросил ее из головы.

— Триста семьдесят пять раз вы говорили об этом, согласился монумент терпения.

— Я лгал, — повторил консул, — я лгал каждый раз. Я не забывал ее ни на секунду. Я был упрямый осел: убежал черт знает куда лишь потому, что она мимоходом сказала «нет». И, как спесивый болван, не хотел вернуться. Но сегодня я обменялся с нею двумя-тремя словами у Гудвина и узнал одну вещь. Вы помните этого фермера, который волочился за нею?

— Динка Поусона?

— Пинка Доусона. Он для нее — ноль. Она, оказывается, не верила его рассказам обо мне. Но все равно, я погиб. Это дурацкое письмо, которое мы с вами сочинили тогда, расстроило все мои шансы. Она с презрением отвернется от меня, когда узнает, что я сыграл такую жестокую шутку над ее старым отцом, — шутку, не достойную самого глупого школьника. Башмаки! Боже мой, да сиди он здесь двадцать лет, он не продаст и двадцати пар башмаков. Напяльте-ка башмаки на караиба или на чумазого испанца — и что сделают эти люди? Встанут на голову и будут визжать, пока не стряхнут их. Никогда не носили они башмаков и не будут носить. Если я пошлю их домой, я должен буду рассказать им всю историю, и что подумает Розина обо мне? Я люблю эту девушку больше прежнего. Билли, и теперь, когда она тут, в двух шагах, я теряю ее навеки лишь потому, что я попробовал шутить, когда термометр показывал сто два градуса.

— Не падайте духом! — сказал оптимист Кьюу. — И пусть они откроют магазин. Я недаром поработал нынче. На первое время мы можем устроить бум. Чуть откроется магазин, я пойду и куплю шесть пар. Я уже говорил кое с кем и объяснил им, какая случилась катастрофа, и все наши накупят себе столько башмаков, как будто они стоножки. Франк Гудвин купит целый ящик или два. Джедди покупают одиннадцать пар. Клэнси вложит в это дело всю свою недельную выручку, и даже старый доктор Грэгг готов купить три пары туфель из крокодиловой кожи, если у них найдется достаточно большой размера Бланшар видел мельком мисс Розину Гемстеттер, и, так как он француз, он потребует не меньше двенадцати пар.



— Десяток покупателей, — сказал Джонни, — а товару на четыре тысячи долларов. Это не годится. Тут нужны широкие масштабы. Идите, Билли, домой и оставьте меня одного. Мне нужно подумать. И прихватите с собою этот коньяк, да, да, без разговоров! Больше консул Соединенных Штатов не выпьет ни капли вина. Я буду сидеть всю ночь и думать. Если есть в этом деле какая-нибудь зацепка, я найду ее. Если нет, на совести роскошных тропиков прибавится еще одна гибель.

Кьюу ушел, видя, что он больше не нужен. Джонни разложил на столе три или четыре сигары и растянулся в кресле. Когда внезапно на землю пал тропический рассвет и посеребрил морские струи, консул все еще сидел за столом. Потом он встал, насвистывая какую-то арию, и принял ванну.

В девять часов утра он направился в грязную почтово-телеграфную контору и провозился больше получаса с бланком. В результате получилась следующая каблограмма, которую он подписал и отправил, заплатив тридцать три доллара:

*«П. Доусону, Дэйлсбург. Алабама.*

*Сто долларов посланы вам почтою. Пришлите мне немедленно пятьсот фунтов крепких колючих репейников. Здесь большой спрос. Рыночная цена двадцать центов фунт. Возможны дальнейшие заказы. Торопитесь».*

## ХІІІ. Корабли

В течение ближайшей недели на Калье Гранде было найдено отличное помещение для магазина. Мистер Гемстеттер снял его за довольно дешевую плату и разложил всю свою обувь на полках. Магазин украсился изящными белыми коробками, выглядевшими очень заманчиво.

Друзья Джонни постояли за него горой. В первый день Кьюу заглядывал в магазин как бы мимоходом каждый час и покупал башмаки. После того как он купил башмаки на резинках, башмаки на шнурках, башмаки на пуговках, башмаки с гетрами, башмаки для тенниса, башмаки для танцев, туфли всевозможных цветов и оттенков и вышитые ночные туфли, он кинулся разыскивать Джонни — спросить у него, какие сорта обуви существуют еще, дабы закупить и их. Столь же благородно сыграли свою роль остальные: покупали часто и помногу. Кьюу руководил операциями и распределял клиентов так, чтобы растянуть торговлю на несколько дней.

Мистер Гемстеттер был доволен, но его смущало одно: почему никто из туземцев не приходит покупать башмаки?

— Ах, они такие застенчивые, — говорил Джонни, нервно вытирая лоб. — Дайте им немного попривыкнуть. От них отбою не будет; раскупят весь товар моментально.

Однажды предвечерней порой в конторе консула появился Кьюу, задумчиво пожевывая кончик незажженной сигары.

— Ну, придумали какой-нибудь фокус? — спросил он Джонни. — Если придумали, то сейчас самое время показать его. Если вы сумеете взять у одного из зрителей шляпу и вынуть оттуда несколько сот покупателей, которые желают купить башмаки, действуйте немедленно. Мы все «накупали себе столько обуви, что хватит на десять лет. Теперь в башмачном магазине затишье, *dolce far niente*<sup>[51]</sup>. Я сейчас оттуда. Ваша жертва — почтенный Гемстеттер — стоит у порога и с изумлением взирает сквозь очки на босые ноги, проходящие мимо его магазина. У этих туземцев наклонности чисто художественные. Сегодня утром мы с Клэнси за два часа сфотографировали восемнадцать человек. А башмаков за весь день

продана одна пара. Ее купил Бланшар. Ему показалось, что в магазине дочь хозяина. Он вошел и купил комнатные туфли, меховые. Потом я видел, как он размахнулся и швырнул их в залив.

— Завтра или послезавтра придет фруктовый пароход из Мобила, — сказал Джонни. — А до той поры нам делать нечего.

— Но что вы намерены делать? Создать спрос?

— Много вы понимаете в политической экономии, — ответил консул довольно невежливо. — Спроса создать нельзя. Но можно создать условия, которые вызовут спрос. Вот этим-то я и занят.

Через две недели после того как консул послал каблограмму, в Коралио прибыл фруктовый пароход и привез консулу огромный серый тюк, наполненный чем-то загадочным. Так как консул был официальное лицо, таможенные сделали ему поблажку и не распаковали тюка. Тюк был доставлен к нему в контору и с комфортом водворен в задней комнате.

Вечером консул сделал в холсте надрез, сунул туда руку и вытащил горсть репейников. Долго он осматривал их, как воин осматривает оружие, перед тем как ринуться в бой за жизнь и любимую женщину. Репейники были первого сорта, августовские, крепкие, как лесные орехи. Они были покрыты колючей и прочной щетиной, словно стальными иголками. Джонни тихонько засвистал какую-то арию и отправился к Билли Кьюу.

Позже, когда Коралио погрузился в сон, консул и Билли прокрались на опустелые улицы. Их пиджаки раздувались наподобие воздушных шаров. Медленной поступью прошли они по Калье Гранде, засеяв пески колючками; тщательно обработали боковые дорожки, не пропустили и травы меж домами: засеяли каждый фут. Потом проследовали в боковые улицы, не пропустив ни одной. Не забыто было ни одно место, куда могла ступить нога мужчины, женщины или ребенка. Не раз возвращались они в консульство за пополнением колючих запасов. Лишь на рассвете, вернувшись домой, они с чистым сердцем легли почивать, как великие полководцы накануне сражения, после того как, разработав план кампании, они видят, что победа обеспечена.

Когда встало солнце, на базарную площадь пришли торговцы, продававшие фрукты и мясо, и разложили свои товары в здании рынка и на окружавшей его галерее. Базарная площадь была почти на самом

морском берегу, так далеко сеятели колючек не заходили. Наступил установленный час, а покупателей не было. Еще полчаса — никого! «Que hay?»<sup>[52]</sup> — стали они восклицать, обращаясь друг к другу.

Между тем в обычное время из каждого глинобитного домика, каждой пальмовой лачуги, каждого patio выпорхнули женщины, черные женщины, коричневые женщины, лимонно-желтые женщины, каштановые женщины, краснокожие женщины, загорелые женщины. Все они стремились на рынок — купить для своей семьи кассаву, бананы, мясо, кур и маисовых лепешек. Все они были декольте, с голыми руками, босыми ногами, в юбках чуть ниже колен. Скудоумные и волоокие, они отошли от дверей и зашагали по узким тротуарам или посреди улицы по мягкой траве.

Вдруг самая первая издала странный писк и высоко подняла ногу. Еще немного, и несколько женщин сразу так и сели на землю с пронзительными воплями испуга, — поймать ту опасную, неведомую тварь, которая кусает их за ноги. «Que picadores diablos!»<sup>[53]</sup> — визжали они, перекликаясь друг с другом через узкую улицу. Некоторые перебежали с дорожек на траву, но и там их кусали и жалили непонятные колючие шарики. Они тоже повалились на землю, и их причитания слились с причитаниями тех, что сидели на песчаных тропинках. Весь город наполнился женским вытьем. А торговцы на рынке все гадали, почему не идут покупатели?

Вот на улицу вышли владыки земли, мужчины. Они тоже начали прыгать, танцевать, приседать и ругаться. Одни, словно лишившись рассудка, остановились как вкопанные, другие нагнулись и стали ловить ту нечисть, которая кусала им пятки и щиколотки. Некоторые во всеуслышание заявляли, что это ядовитые пауки новой, неизвестной породы.

А вот хлынули на улицу дети — порезвиться с утра на воле. И тут к общему гаму прибавился вой уязвленных и захромавших младенцев. Жертвы множились с каждой минутой

Донна Мария Кастильяс-и-Буэнвентура-де-лас-Касас вышла, как всегда по утрам, из своего почтенного дома купить в panadería напротив свежего хлеба. На ней была золотистая атласная юбка, вся в цветочках, батистовая сорочка, вся в складочках, и пурпурная мантилья из Испании. Ее лимонно-желтые ноги были, увы, босы. Поступь у нее была величавая, ибо разве ее предки не чистокровные

арагонские гидальго? Три шага она сделала по бархатным травам и вдруг наступила аристократической пяткой на одну из колючек Джонни. Донна Мария Кастильяс-и-Буэнвентура-де-лас-Касас завизжала, как дикая кошка. Упав на колени, упираясь руками в землю, она поползла — да, поползла, как животное, — назад, к своему достопочтенному дому.

Дон сеньор Ильдефонсо Федерико Вальдасар, мировой судья, весом в двадцать английских стон<sup>[54]</sup>, повлек свое грузное туловище на площадь в пульперию — утолить утреннюю жажду. С первого же шага его незащищенная нога наткнулась на скрытую мину. Дон Ильдефонсо рухнул, как обвалившийся кафедральный собор, крича, что его насмерть укусил скорпион. Всюду, куда ни глянь, прыгали безбашмачные граждане, дрыгая ногами и отрывая от пяток ядовитых насекомых, которые появились в одну ночь неизвестно откуда и доставили им столько хлопот.

Первый, кто догадался, как спастись от беды, был парикмахер Эстебан, человек бывалый и ученый. Сидя на камне и вынимая у себя из большого пальца занозы, он произнес такую речь:

— Посмотрите, милые друзья, на этих клопов сатаны.

Я знаю их отлично. Они летают в небе, как голуби, стаями... Живые улетели, а мертвые засыпали своими телами наш город. Это еще мелочь, а в Юкатане я видел вот таких, величиной с апельсин. Да! Там они шипят, как змеи, а крылья у них, как у летучей мыши. От них одно спасение — башмаки. *Zapatos — zapatos para mí!* — Эстебан заковылял к магазину Гемстеттера и купил себе пару ботинок. Выйдя оттуда, он гордо зашагал по улицам, не боясь ничего и громко понося сатанинских клопов. Пострадавшие либо сидели, либо стояли на одной ноге и смотрели на счастливец — парикмахера. Женщины, мужчины и дети — все подхватили клич:

— *Zapatos! Zapatos!*

Условия, порождающие спрос, были созданы. Спрос не замедлил последовать. В этот день мистер Гемстеттер продал триста пар башмаков.

— Удивительно, — сказал он консулу, который заглянул к нему вечером помочь ему навести порядок в магазине, — какое внезапное оживление торговли. Вчера я продал всего три пары.

— Я говорил вам, что если уж они начнут покупать, от них буквально не будет отбоя.

— Завтра же выпишу еще ящиков десять, не меньше, в запас, — сказал Гемстеттер, сияя сквозь очки. — Чтобы, знаете, не остаться вдруг без товара.

— Я бы не советовал, — сказал Джонни. — Не нужно торопиться. Посмотрим, как пойдет торговля дальше.

Каждую ночь Джонни и Кьюо бросали в землю семя, всходившее поутру долларами. Через десять дней в магазине Гемстеттера разошлось две трети товара; репейник у Джонни разошелся весь без остатка. Джонни выписал от Пинка Доусона еще пятьсот фунтов по двадцати центов за фунт. Мистер Гемстеттер выписал еще башмаков на полторы тысячи долларов от северных фирм. Джонни околачивался в магазине, чтобы перехватить заказ, и уничтожил его прежде, чем он поступил на почту.

В этот вечер, он ушел с Розиной под то манговое дерево, что росло у террасы Гудвина, и рассказал ей все. Она посмотрела ему прямо в глаза и сказала:

— Вы очень нехороший человек. Мы с папой сейчас же уедем домой. Вы говорите, что это была шутка? По-моему, это очень серьезное дело!

Но через полчаса тема их беседы изменилась. Они горячо обсуждали вопрос, какими обоями — розовыми или голубыми — лучше украсить колониальный дом Этвудов в Дэйлсбурге после их свадьбы.

На следующее утро Джонни покаялся перед мистером Гемстеттером. Сапожный торговец надел очки и сказал:

— Вы большой негодяй, молодой человек. Таково мое мнение. Хорошо, что я, как опытный делец, поставил все дело на солидную ногу, а не то я был бы банкротом. Что же вы предлагаете сделать теперь, чтобы распродать остальное?

Когда прибыла новая партия репейников, Джонни нагрузил ими шхуну, захватил оставшуюся обувь и направился вдоль берега в Аласан.

Там таким же дьявольским манером он устроил свое темное дело и вернулся с туго набитым бумажником и без единого башмачного шнурка.

После этого он упросил своего великого Дядюшку, щеголяющего в звездном жилете и трясущего козлиной бородкой<sup>[55]</sup>, принять его отставку, так как лотос уже не прельщал его. Он мечтал о шпинате и редиске с огородов Дэйлсбурга.

Временно замещающим должность консула Соединенных Штатов был назначен, по совету Джонни, мистер Уильям Теренс Кьюу, и вскоре Джонни отплыл с Гемстеттерами к берегам своей далекой отчизны.

Кьюу принял свою синекуру с той легкостью, которая никогда не покидала его даже на высоком посту. Его фотографическая мастерская вскоре прекратила свое бытие, хотя следы ее смертоносной работы никогда не изгладились на этих мирных, беззащитных берегах. Компаньонам не сиделось на месте. Они снова готовы были пуститься в погоню за быстроногой Фортунной. Но теперь дороги у них были разные. Воинственный Клэнси прослышал о том, что в Перу готовится, восстание, и жаждал направить туда свой предприимчивый шаг. А Кьюу — у того созрел и уже уточнялся на официальных бланках консульства новый план, перед которым работа по искажению человеческих лиц совершенно стушевывалась.

— Мне бы, — часто говорил Кьюу, — подошло какое-нибудь этакое дельце, не скучное, и чтобы казалось труднее, чем есть на самом деле, какое-нибудь деликатное жульничество, еще не настолько разработанное, чтобы его можно было включить в программу заочного обучения. Я не гонюсь за быстрыми доходами, но мне хочется иметь хотя бы столько же шансов на успех, как у того человека, который учится играть в покер на океанском пароходе. А когда я начну считать прибыль, мне совершенно не улыбается найти у себя в кошельке лепты вдовиц и сирот.

Весь земной шар, заросший травой, был тем зеленый стол, за которым Кьюу предавался азартной игре. Он играл только в те игры, которые сам изобрел. Он не хватался за каждый подвернувшийся под руку доллар, не преследовал его с охотничьим рогом и гончими, но предпочитал ловить его на блестящую редкостную мушку в водах диковинных рек.

И все-таки он был хороший делец, и его планы, несмотря на всю их фантастичность, были так же всесторонне обдуманы, как планы какого-нибудь строительного подрядчика. Во времена короля Артур а

сэр Уильям Кьюу был бы рыцарем Круглого Стола. В наши дни он разъезжает по свету, но цель его — не Грааль, а Игра.

Через три дня после отъезда Джонни два маленьких парусных судна появились у берегов Коралио. Вскоре одно из них спустило на воду шлюпку, и в ней прибыл загорелый молодой человек. У молодого человека был острый, сметливый глаз; с удивлением осматривал он диковинки, которые видел вокруг. Кто-то на берегу указал ему, где контора консула, и туда он направился нервной походкой.

Кьюу сидел, развалившись, в казенном кресле, рисуя на кипе казенных бумаг карикатуры на дядюшку Сэма. Когда посетитель вошел, он поднял голову.

— Где Джонни Этвуд? — деловым тоном спросил загорелый молодой человек.

— Уехал, — ответил Кьюу, тщательно отделявая галстук дядюшки.

— Узнаю моего Джонни! — сказал загорелый, опираясь руками о стол. — Такой он всегда был. Чем заниматься делом, шляется где-нибудь по пустякам. А скоро он вернется?

Кьюу подумал и сказал:

— Едва ли.

— Бездельничает, как всегда, — сказал посетитель убежденно добродетельным тоном. — Никогда у него не было выдержки: работать и работать до конца, чтобы добиться успеха. Как же он может вести дело здесь, если он даже в конторе не бывает?

— Теперь это дело поручено мне, — сказал заместитель консула.

— Вам! А, вот оно что! Скажите же мне, где фабрика?

— Какая фабрика? — спросил Кьюу с учтивым любопытством.

— Да та, где обрабатывают эти репейники! Что с ними там делают, кто его знает. Вот эти два судна доверху набиты репейником, я сам зафрахтовал их. Продам вам всю партию, и дешево. В Дэйлсбурге я нанял всех женщин, мужчин и детей специально для сбора репейника. Собирали целый месяц без отдыха. Все думали, что я сумасшедший. Ну, теперь я могу продать вам всю свою партию по пятнадцати центов за фунт. С доставкой, пересылкой и другими накладными расходами. И если вам нужно еще, мы поднимем на ноги всю Алабаму. Джонни, когда уезжал сюда, обещал мне, что, если наклонится какое-нибудь выгодное дело, он тотчас даст мне знать. Могу ли я подъехать к берегу и разгрузиться?



Огромная, почти невероятная радость засветилась на розовой физиономии Кьюу. Он уронил карандаш. Его глаза обратились к загорелому молодому человеку, в них отразились и веселье и страх. Он боялся, как бы все это прелестное событие не оказалось сновидением.

— Ради бога, — сказал он взволнованно, — скажите мне: вы Динк Поусон?

— Меня зовут Пинкни Доусон, — ответил король репейного рынка.

В тихом упоении Кьюу соскользнул с кресла на пол, на свой любимый коврик.

Немного было звуков в Коралио в этот душный и знойный полдень. Среди них мы могли бы упомянуть восторженный и несправедливый хохот простертого на коврике ирландского янки, пока загорелый молодой человек стоит и смотрит на него пронизательным взглядом в великом изумлении и замешательстве. А также топ-топ-топ-топ многих обутых ног, шагающих по улицам. А также тихий шелест волн Караибского моря, омывающего этот исторический берег.

## XIV. Художники

Огрызок синего карандаша служил Кью жезлом, с помощью которого он совершал предварительные действия своего волшебства. Зажав его в пальцах, он покрывал бумагу диаграммами и цифрами, выжидая, когда Соединенные Штаты пришлют в Коралию заместителя вышедшему в отставку Этвуду.

Новый план, зародившийся у него в уме, поддержанный его отважным сердцем и зафиксированный его синим карандашом, строился на свойствах и человеческих слабостях нового президента Анчурии. Эти свойства, а также ситуация, из которой Кью надеялся вытянуть золотую дань, заслуживают того, чтобы мы изложили их более подробно, дабы связь событий стала понятнее.

Великие таланты президента Лосады — многие звали его диктатором — были бы заметны даже среди англосаксов, если бы к этим талантам не примешивались другие черты, мелочные и пагубные. Благородный патриот (в духе Георга Вашингтона, которому он поклонялся), он обладал душевными силами Наполеона и в значительной мере — мудростью великих мудрецов. Все это давало бы ему несомненное право именоваться «Достославным Освободителем Народа», если бы не его изумительное и несуразное чванство, которое отодвигало его в менее достойные ряды диктаторов.

Правда, он сослужил своей родине великую службу. Могучей дланью он встряхнул ее так, что с нее чуть не спали оковы оцепенения, лени, невежества. Анчурия чуть было не стала державой, с которой считаются другие нации. Он учреждал школы и больницы, строил мосты и шоссе, строил железные дороги, дворцы. Щедрой рукой раздавал он субсидии для поощрения наук и художеств. Он был абсолютный тиран и в то же время кумир народа. Богатства страны так и текли к нему в руки. Другие президенты грабили без толку. Лосада хоть и стяжал несметные суммы денег, все же некоторую долю уделял и народу.

Его наиболее уязвимым местом, была ненасытная жажда монументов, похвал, славословий. В каждом городе он приказал воздвигнуть себе статуи и на пьедесталах высечь слова, восхваляющие

его величие. В стены каждого общественного здания вделывались мраморные доски с надписями, повествующими о его великолепном правлении и о благодарности его верноподданных. Статуэтки и портреты президента наполняли всю страну, их можно было видеть в каждом доме, в каждой лачуге. Один из лизоблюдов при его дворе изобразил его в виде апостола Иоанна, с золотым ореолом вокруг головы и целой шеренгой приближенных в полной парадной форме. Лосада не усмотрел в этой картине ничего непристойного и распорядился повесить ее в одной из церквей столицы. Одному французскому скульптору он заказал мраморную группу, где рядом с ним, президентом, стояли Наполеон, Александр Великий и еще два-три человека, которых он счел достойными этой чести.

Он обшарил всю Европу, чтобы добыть себе знаки отличия. Деньги, интриги, политика — все годилось как средство получить лишний орден от королей или правителей. В особо торжественных случаях вся его грудь, от одного плеча до другого, была покрыта лентами, звездами, орденами, крестами, золотыми, розами, медалями, ленточками. Говорили, что всякий, кто мог раздобыть для него новую медаль или как-нибудь по-новому прославить его, получал возможность глубоко запустить руку в казначейство республики.

На этом-то человеке и сосредоточились помыслы Кьюу. Благородный разбойник заметил, что на тех, кто льстит непомерному честолюбию Лосады, целыми потоками льется дождь богатых и щедрых милостей. Кто же вправе требовать от него, от Кьюу, чтобы он раскрыл зонтик для защиты от этого ливня!

Вскоре в Коралио прибыл новый консул и освободил Кьюу от временного исполнения обязанностей. Новоприбывший был молодой человек, только что с университетской скамьи, и цель жизни у него была одна: ботаника. Консульская служба в Коралио давала ему возможность изучать тропическую флору. Очки у него были дымчатые, а зонтик зеленый. На прохладной террасе консульства он поместил такое количество всевозможных растений, что не осталось места ни для бутылки, ни для кресла. Кьюу посмотрел на него с тоскою, но без всякой вражды, и начал упаковывать свой чемодан, ибо его новые планы требовали путешествия за море.

Вскоре снова прибыл «Карлсефин» — пароход-бродяга — и стал грузиться кокосовыми орехами для нью-йоркского рынка, Кьюу

устроился пассажиром на этот пароход.

— Да, я еду в Нью-Йорк, — говорил он знакомым, собравшимся на берегу проводить его. — Но не успеете вы соскучиться, как я буду здесь опять. Надо же заняться художественным воспитанием этой желто-черно-красной страны. И не такой я человек, чтобы оставить ее в ранних конвульсиях цинкографической стадии.

С этой загадочной декларацией он взошел на пароход.

Через десять дней, дрожа от холода и высоко подняв воротник своего легкого пальто, он ворвался в мастерскую Кэролоса Уайта на верхнем этаже многоэтажного дома на Десятой улице в Нью-Йорке.

Кэролос Уайт курил папиросу и поджаривал на керосиновой печке колбасу. Ему было всего двадцать три года, и его идеи об искусстве были чрезвычайно благородны.

— Билли Кьюу! — вскричал Уайт, протягивая левую руку (в правой была сковородка). — Откуда? Из каких нецивилизованных стран?

— Здравствуй, Кэрри! — сказал Кьюу, пододвигая стул к печке и грея около нее окоченелые пальцы. — Хорошо, что я разыскал тебя так скоро. Я целый день рылся в телефонных книжках и картинных галереях и ничего не нашел, а в распивочной за углом мне сразу сказали твой адрес. Я был уверен, что ты все еще не бросил своего малевания.

Кьюу окинул стены мастерской испытующим взглядом.

— Да, ты настоящий художник, — объявил он, несколько раз кивнув головой. — Вот эта картина, большая, в углу, где ангелы, зеленые тучи и фургон с оркестром, превосходно подойдет для нас. Как называется эта картина? «Сцена на Кони-Айленд»?<sup>[56]</sup>

— Эта? Я хотел назвать ее: «Илья-пророк возносится на небо», но, может быть, ты ближе к истине.

— Дело не в названии! — философски заметил Кьюу. — Самое главное — рама и пестрые краски. Теперь я скажу тебе без околичностей, зачем я пришел к тебе. Я проехал на пароходе две тысячи миль, чтобы вовлечь тебя в одно предприятие. Чуть только я затеял это дело, я сразу же подумал о тебе. Хочешь поехать со мною, чтобы смастерить одну картину? Работать три месяца. Пять тысяч долларов.

— А какая работа? — спросил Уайт. — Рекламы о средствах для ращения волос? Об овсяной каше?

— Никакой рекламы тебя малевать не заставят!

— Что же это за картина?

— Долго рассказывать.

— Ничего, рассказывай. А я, уж извини, буду следить за колбасой. Чуть она примет ван-дейковский коричневый тон, нужно снимать. Иначе пиши пропало.

Кьюу рассказал ему весь свой проект. Они должны были поехать в Коралио, где Уайту надлежало разыграть из себя знаменитого американского художника-портретиста, который будто бы разъезжает по тропикам для отдохновения от напряженной и высокооплачиваемой работы. Можно было с уверенностью сказать, что художник с такой репутацией непременно получит казенный заказ — увековечить на полотне бессмертные черты Лосады — и окажется под тем ливнем червонцев, который обеспечен каждому, кто умеет играть на слабой струне президента.

Кьюу решил назначить десять тысяч долларов. Случалось, художникам платили за портреты и больше. Расходы по путешествию пополам, все доходы тоже пополам. Такова была схема; он сообщил ее Уайту. С Уайтом он познакомился на Западе еще до того, как один посвятил себя искусству, а другой ушел в бедуины.

Заговорщики покинули мастерскую и заняли уютный уголок в кафе, где и просидели до ночи в обществе старых конвертов и огрызка синего карандаша, принадлежавшего Кьюу.

Ровно в полночь Уайт скрючился на стуле, положив подбородок себе на кулак, и закрыл глаза, чтобы не видеть безобразных обоев.

— Хорошо, я поеду, Билли, — сказал он спокойно и твердо. — У меня есть две-три сотни, чтобы платить за колбасу и мастерскую, я рискну. Пять тысяч! Эти деньги дадут мне возможность уехать на два года в Париж и на год в Италию. Завтра же начну собираться.

— Ты начнешь собираться через десять минут. Завтра уже наступило. «Карлсефин» отходит в четыре часа. Пойдем в твою красильню, я помогу тебе.

На пять месяцев в году Коралио становится фешенебельным центром Анчурии. Только тогда в городе кипит жизнь. С ноября по март город в сущности является столицей. Там имеет пребывание

президент со своей официальной семьей; высшее общество тоже перебирается туда. Люди, живущие в свое удовольствие, превращают весь этот сезон в сплошной праздник: развлечениям и забавам нет конца. Празднества, балы, игры, морские купанья, прогулки, спектакли-все способствует увеселению. Знаменитый швейцарский оркестр из столицы играет каждый вечер на площади, и все четырнадцать карет и экипажей, имеющих в городе, кружат по улицам в похоронно-медленном, но сладостном темпе. Индейцы, похожие на доисторических каменных идолов, спускаются с гор и продают на улицах свои изделия. Узенькие улочки полны народом — журчащий, беззаботный, веселый поток человечества. Нахальные мальчишки, вся арматура которых состоит из коротенькой туники и золотых крылышек, визжат под ногами, кипучей толпы. Особенно помпезно обставлено прибытие в город президента и его приближенных. Это великое торжество начала сезона, и сопровождается оно всегда парадами и патриотическими изъятиями восторга и преданности.

Когда Кью и Уайт прибыли на «Карлсефине» в Коралио, веселый зимний сезон был уже в полном разгаре. Ступив на берег, они услышали швейцарский оркестр. Деревенские девы, украсив светляками свои черные кудри, уже скользили по тропинкам, босые, с пугливыми взорами. Франты в белых полотняных костюмах, помахивая тросточками, уже начали свою вечернюю прогулку, столь опасную для женских сердец. Человеческое заполнило собою весь воздух: искусственные чары, кокетство, праздность, развлечения — созданный человеком смысл жизни.

В первые два-три дня по прибытии в Коралио Кью и его приятель занялись подготовкой почвы. Кью сопровождал художника во всех его прогулках по городу, познакомил его с маленьким кружком англичан и американцев и всеми возможными способами внушал окружающим, что приезжий — знаменитый художник.

Желая нагляднее показать, что это действительно так, Кью наметил целую программу.

Приятель снял комнату в отеле де лос Эстранхерос. Оба щеголяли в новых костюмах из девственно-чистой парусины, у обоих были американские соломенные шляпы и трости, очень экстравагантного вида и совершенно ненужные. Даже среди пышно-мундирных

офицеров анчурийского воинства числилось не много таких caballeros — таких элегантных и непринужденных в обращении джентльменов, как Кьюу и его друг, великий американский художник сеньор Уайт.

Уайт поставил свой мольберт на берегу и сделал несколько ярких этюдов — моря и гор. Туземцы образовали у него за спиной широкий и болтливый полукруг и следили за работой его кисти. Кьюу, никогда не пренебрегавший деталями, усвоил себе роль, которую и выдержал до самого конца: он друг великого художника, деловой человек на покое. Эмблемой его положения служил карманный фотоаппарат.

— Как признак дилетанта из высшего общества, — говорил он, — обладателя чистой совести и солидного счета в банке, аппарат забивает даже частную яхту. Человек ничего не делает; шатается по берегу и щелкает затвором, значит — он пользуется большим уважением в денежных кругах. Чуть только он кончает обирать... своих ближних, он — начинает снимать их. Кодак действует на людей больше, чем брильянтовая булавка в галстук или титул.

Таким образом, Кьюу разгуливал по Коралио и снимал красивые виды и робких сеньорит, а Уайт парил в более высоких эмпиреях искусства.

Через две недели после их прибытия великий план начал осуществляться. К отелю подъехал один из адъютантов президента в великолепной четырехместной коляске. Президент хотел бы, чтобы сеньор Уайт побывал в Casa Morena с неофициальным визитом.

Кьюу крепко сжал трубку зубами.

— Десять тысяч, ни цента меньше, — сказал он художнику. — Помни свою цену. И, пожалуйста, золотом! Не давай им всучить тебе гнусные бумажки, которые считаются деньгами в здешних местах.

— Может быть, он зовет меня совсем не для этого, — сказал Уайт.

— Еще чего! — сказал Билли с великолепным апломбом. — Уж я знаю, что ему нужно. Ему нужно, чтобы знаменитый американский художник и флибустьер, ныне живущий в его презренной стране, написал его портрет. Собирайся же скорей!

Коляска отбыла вместе с художником. Кьюу шагал по комнате взад и вперед, выпуская из трубки огромные клубы дыма, и ждал. Через час коляска снова остановилась у двери отеля, оставила Уайта и покатила прочь. Художник взбежал по лестнице, перескакивая через три

ступеньки. Кью перестал курить и превратился в молчаливый вопросительный знак.

— Вышло! — крикнул Уайт. Его детское лицо пылало. — Билли, ты просто восторг. Да, ему нужен портрет. Я сейчас расскажу тебе все. Черт возьми! Этот диктатор молодчина! Диктатор до кончиков ногтей. Некая смесь из Юлия Цезаря, Люцифера и Чонси Депью<sup>[57]</sup>, написанных сепией. Вежливость и мрачность его стиль. Комната, где он принял меня, в десять квадратных акров и напоминает увеселительный пароход на Миссисипи — зеркала, позолота, белая краска. По-английски он говорит лучше, чем я. Зашел разговор о цене. Я сказал: десять тысяч. Я был уверен, что он позовет часовых, прикажет вывести меня и расстрелять. Но у него даже ресницы не дрогнули. Он только махнул своей каштановой ручкой и сказал небрежно: «Сколько скажете, столько и будет». Завтра я должен явиться к нему, и мы обсудим все детали портрета.

Кью повесил голову. Легко было прочитать на его помрачневшем лице сильнейшие угрызения совести.

— Я провалился, — сказал он печально. — Куда мне браться за такие большие дела? Мое дело продавать апельсины с тележки, для более сложных махинаций я не гожусь. Когда я сказал: десять тысяч, клянусь, я думал, что больше этот черномазый не даст, а теперь я вижу, что из него можно было с тем же успехом выжать все пятнадцать. Ах, Кэрри, отдай старого Кью в уютный и тихий сумасшедший дом, если еще хоть раз с ним случится подобное.

Летний дворец, Casa Mogena, хотя и был одноэтажным зданием, отличался великолепным убранством. Он стоял на невысоком холме в обнесенном стеною роскошном тропическом саду на возвышенной окраине города. На следующий день коляска президента снова приехала за живописцем. Кью пошел прогуляться по берегу, где и он и его «коробка с картинками» уже стали обычным явлением. Когда он вернулся в гостиницу, Уайт сидел на балконе в шезлонге.

— Ну, — сказал Кью, — была ли у тебя беседа с его пустозвонством? Решили, какая мазня ему надобна?

Уайт вскочил с кресла и несколько раз прошелся взад и вперед по балкону. Потом он остановился и засмеялся самым удивительным образом. Он покраснел, и глаза у него блестели сердито и весело.



— Вот что, Билли, — сказал он резко. — Когда ты пришел ко мне в мастерскую и сказал, что тебе нужна картина, я думал, что тебе нужно, чтобы я намалевал где-нибудь на горном хребте объявление об овсянке или патентованном средстве для ращения волос. Так вот, по сравнению с тем, что мне предлагают теперь по твоей милости, это было бы самой возвышенной формой живописи. Я не могу написать эту картину, Билли. Отпусти меня домой. Дай я попробую рассказать тебе, чего хочет от меня этот варвар. У него все уже заранее обдуманно, и есть даже готовый эскиз, сделанный им самим. Недурно рисует, ей-богу. Но, музы! послушай, какую чудовищную чепуху он заказывает. Он хочет, чтобы в центре картины был, конечно, он сам. Его нужно написать в виде Юпитера, который сидит на Олимпе, а под ногами у него облака. Справа от него стоит Георг Вашингтон в полной парадной форме, положив руку ему на плечо. Ангел с распростертыми крыльями парит в высоте и возлагает на чело президента лавровый венок, точно он победитель на конкурсе красоток. А на заднем плане должны быть пушки, а потом еще ангелы и солдаты. У того негодяя, который намалевал бы такую картину, не человечья, а собачья душа; единственный достойный удел для него — погрузиться в забвение даже без жестянки, прикрепленной к хвосту и напоминающей о нем своим дребезжанием.

Мелкие бусинки пота выступили у Кьюу на лбу. Такого оборота огрызок его синего карандаша не предусмотрел. До сих пор колеса его плана вертелись так гладко, что он чувствовал себя поистине польщенным. Он выволок на балкон еще одно кресло и снова усадил Уайта. Потом с напускным спокойствием закурил свою трубку.

— Ну, сынок, — сказал он нежно и в то же время очень серьезно, — давай поговорим, как художник с художником. У тебя свое искусство, у меня свое. Твое искусство — классическое: не дай бог нарисовать пивную вывеску или, скажем, олеографию «Старая мельница». А мое искусство — бизнес. Весь этот план — мой. Я разработал его, как дважды два. Малюй этого чудака-президента в виде короля Коля, или в виде Венеры, или в виде пейзажа, или в виде фрески, или в виде букетика лилий, или на что бы он ни считал себя похожим, но малюй и получай монету. Ты не покинешь меня, Кэрри, теперь, когда игра началась. Подумай: десять тысяч.

— Об этом я не забываю, — сказал Уайт, — и это страшно мучает меня. Меня и самого подмывает втоптать в грязь все свои идеалы и опаскудить свою душу малеванием этой картины. Эти пять тысяч долларов означали для меня три года учения в Европе. Ради этого я бы, кажется, продал душу дьяволу.

— Ну зачем же дьяволу? — сказал Кьюо ласково. — Это чисто деловое предложение. Столько-то красок и времени — столько-то денег. Я не согласен с тобою, что в этой картине совершенно нет места искусству. Георг Вашингтон был вполне порядочный человек, и что можно сказать против ангела? По-моему, группа задумана не так уж плохо. Если ты дашь Юпитеру эполеты и шпагу да сделаешь облака, что висят над его головой, похожими на грядку черной смородины, получится отличная батальная сцена. Конечно, если бы мы заранее не назначили цену, можно было бы спросить с него добавочную тысячу за Вашингтона да за ангела не меньше пятисот.

— Ты ничего не понимаешь, Билли, — сказал Уайт, напряженно смеясь. — У некоторых из нас, художников, такие огромные требования! Я мечтал о том, что когда-нибудь люди станут перед моей картиной и забудут, что она написана красками. Картина проникнет им в душу, как музыка, и засядет там, как мягкая пуля. Люди отойдут от картины и спросят: «А что еще написал этот художник?» — и окажется, что ничего, никаких обложек для журнала, никаких иллюстраций, никаких женских головок — ничего. Только картина. Вот ради чего я питался одной колбасой: я не хотел изменять себе. Я согласился сварганить этот президентский портрет, чтобы выбраться в чужие края и учиться. Но эта гнусная, ужасная карикатура! Боже, боже! Неужели ты сам не понимаешь, в чем дело?

— Понимаю! Превосходно понимаю! — сказал Кьюо так нежно, как будто говорил с ребенком, и положил свой длинный палец на колено Уайта. — Я понимаю. Ужасно, что приходится так унижать свое любимое искусство. Я понимаю. Ты хотел намалевать картину огромных размеров, какую-нибудь этакую панораму «Битва при Геттисбурге», но позволь представить тебе один небольшой эскиз. Маленький набросок пером. До нынешнего дня мы затратили на все это дело триста восемьдесят пять долларов пятьдесят центов. Мы вложили сюда весь наш капитал. У нас осталось ровно столько, чтобы доехать до Нью-Йорка, не больше. Мне нужны мои пять тысяч

долларов. Я намерен добывать медь в Айдахо и заработать сто тысяч. Такова деловая сторона положения Слезай со своего высокого искусства, мой милый, и давай не будем упускать эту охапку долларов.

— Билли, — сказал Уайт, и чувствовалось, что он преодолевает себя. — Я попробую. Не ручаюсь, но попробую. Я возьмусь за эту картину и постараюсь довести ее до конца.

— Вот это бизнес! — радостно сказал Кьюу. — Молодчина! И слушай: заканчивай картину скорее! Если нужно, найми двух помощников, чтобы смешивали тебе краски. Торопись! В городе нехорошие слухи. Здешним людям начинает надоедать президент. Говорят, что он слишком швыряется концессиями. Толкуют, будто он снюхался с Англией и понемногу распродает свою родину. Нужно закончить картину и получить гонорар прежде, чем наступит революция.

В обширном ратио дворца президент приказал натянуть большой холст. Под этим балдахином сеньор Уайт устроил свою временную мастерскую. Каждый день великий человек позировал ему по два часа.

Уайт работал добросовестно. Но по мере того как работа подвигалась к концу, на него стала находить тоска. Он жестоко клеймил себя, издевался над собой, презирал себя. Кьюу с терпением великого полководца утешал его, ласкал, успокаивая всевозможными доводами, не давая ему уйти от картины.

К концу месяца Уайт объявил, что картина окончена. Юпитер, Вашингтон, ангелы, облака, пушки и прочее. Лицо художника было бледно, губы кривились. Он сказал, что президенту картина пришлась по душе. Ее решили повесить в Национальной галерее героев и государственных деятелей. Художнику было предложено завтра же явиться в Casa Morena за деньгами. В назначенный час он ушел из гостиницы, ни слова не отвечая на веселую болтовню Кьюу.

Через час он вошел в комнату, где его ждал Кьюу, швырнул шляпу на пол и уселся на стол.

— Билли, — сказал он с натугой, сдавленным голосом. — У меня есть небольшой капитал, вложенный в дело моего брата на Западе. Эти-то деньги и дают мне возможность изучать искусство и жить. Я возьму у брата мою долю и возвращу тебе то, что ты потратил на эту затею.

— Как! — вскричал Кьюу и вскочил со стула. — Он не заплатил за картину?

— Заплатил, заплатил, — сказал Уайт. — Но картины больше нет, нет и платы Если интересно, послушай. Дело поучительное. Президент и я стояли рядом и смотрели на картину. Его секретарь принес чек на десять тысяч долларов, — для предъявления в нью-йоркский банк. Чуть только в руке у меня оказалась эта бумажка, я буквально сошел с ума. Я разорвал ее в мелкие клочки и швырнул на пол. Невдалеке стоял маляр и красил колонны дворика, возле него было ведро с краской. Я взял его огромную кисть и в одну минуту замазал весь этот десятитысячный кошмар. Потом поклонился и вышел. Президент не двинулся с места, не сказал ни слова. Он был ошеломлен неожиданностью. Я знаю, Билли, что я поступил не по-товарищески, но иначе я не мог, пойми!

На улице послышался шум. В городе было беспокойно. Смешанный, все растущий ропот вдруг пронзили резкие крики:

— Bajo el traidor!.. Muerte al traidor!<sup>[58]</sup>

— Слышишь? — воскликнул огорченный Уайт. — Я немного понимаю по-испански. Они кричат: долой изменника! Я слышал эти крики и раньше. Они кричат обо мне. Изменник — это я. Я изменил искусству. Я не мог не уничтожить картину.

— Долой дурака! Долой идиота! Эти крики были бы более кстати, — сказал Кьюу, пылая возмущением. — Ты уничтожил десять тысяч долларов, разорвал их, как старую тряпку, потому что тебя мучает совесть, что ты извел на пять долларов красок иначе, чем тебе хотелось. В следующий раз, когда у меня будет какой-нибудь коммерческий план, я поведу своего компаньона к нотариусу и заставлю его присягнуть, что он никогда не слышал слова «идеал».

Кьюу выбежал из комнаты в бешенстве. Уайт не обратил никакого внимания на его свирепые чувства. Презрение Билли Кьюу было для него ничто по сравнению с тем презрением к себе самому, от которого он только что спасся.

А в Коралио недовольство росло. Вспышка была неизбежна. Всех раздражало появление в городе краснощекого толстяка-англичанина, который, как говорили, был агентом британских властей и вел тайные переговоры с президентом о таких торговых сделках, в результате которых весь народ должен был оказаться в кабале у иностранной

державы. Говорили, что президент предоставил англичанам самые дорогие концессии, что весь государственный долг будет передан англичанам и что в обеспечение долга им будут сданы все таможи. Долготерпеливый народ решил, наконец, заявить свой протест.

В этот вечер в Коралио и в других городах послышался голос народного гнева. Шумные толпы, беспорядочные, но грозные, запрудили улицы. Они свергли с пьедестала бронзовую статую президента, стоявшую посреди площади, и разбили ее на куски. Они сорвали с общественных зданий мраморные доски, где прославлялись деяния «Великого освободителя». Его портреты в правительственных учреждениях были уничтожены. Толпа атаковала даже Casa Morena, но была рассеяна войсками, которые остались верны президенту. Всю ночь царствовал террор.

Лосада доказал свое величие тем, что к полудню следующего дня в городе был восстановлен порядок, а сам он снова стал полновластным диктатором. Он напечатал правительственное сообщение о том, что никаких переговоров с Англией он не вел и не намерен вести. Сэр Стаффорд Воан, краснощекий британец, заявил от своего имени в газетах и в особых афишах, что его пребывание в этих местах лишено международного значения. Он просто путешественник, турист. Он (по его словам) и в глаза не видал президента и ни разу не разговаривал с ним.

Во время всей этой смуты Уайт готовился к обратному пути. Пароход отходил через два-три дня. Около полудня Кьюу, непоседа, взял свой фотографический аппарат, чтобы как-нибудь убить слишком медленно ползущие часы. Город был снова спокоен, как будто и не бунтовал никогда.

Спустя некоторое время Кьюу влетел в гостиницу с каким-то особенным, решительно-сосредоточенным видом. Он удалился в тот темный чулан, в котором обычно проявлял свои снимки.

Оттуда он прошел на балкон, где сидел Уайт. На лице у него играла яркая, хищная, злая улыбка.

— Знаешь, что это такое? — спросил он, показывая издали маленький фотографический снимок, наклеенный на картонку.

— Снимок сеньориты, сидящей на стуле, — аллитерация непреднамеренная, — лениво сказал Уайт.

— Нет, — сказал Кьюу, и глаза у него засверкали. — Это не снимок, а выстрел. Это жестянка с динамитом. Это золотой рудник. Это чек от президента на двадцать тысяч долларов, да, сэр, двадцать тысяч, и на этот раз картина испорчена не будет. Никакой болтовни о высоком назначении искусства. Искусство! Ты, мазилка с вонючими тюбиками! Я окончательно перешиб тебя кодаком. Посмотри-ка, что это такое!

Уайт взял карточку и протяжно свистнул.

— Черт! — воскликнул он. — В городе будет бунт, если ты покажешь этот снимок. Но как ты раздобыл его, Билли?

— Знаешь эту высокую стену вокруг президентского сада? Там, позади дворца? Я пробрался к ней, снять весь город с высоты. Вижу: из стены выпал камешек, и штукатурка чуть держится. Думаю, дай-ка посмотрю, как растет у президента капуста. И вдруг предо мною в двадцати шагах — этот сэр англичанин вместе с президентом, за столиком. На столике бумаги, и оба они воркуют над ними, совсем как два пирата. Славное местечко в саду, тенистое, уединенное. Кругом пальмы, апельсиновые деревья, а на траве ведро с шампанским, тут же под рукой. Я почувствовал, что пришла моя очередь создать нечто великое в искусстве. Я приставил аппарат к отверстию в стене и нажал кнопку. Как раз в эту минуту те двое стали пожимать друг другу руки — они закончили свою тайную сделку, — видишь, это так и вышло на снимке.

Кьюу надел пиджак и шляпу.

— Что же ты думаешь сделать с этим? — спросил Уайт.

— Я! — воскликнул обиженным тоном Кьюу. — Я привяжу к нему красную ленточку и повешу у себя над камином. Ты меня изумляешь, ей-богу! Я уйду, а ты, пожалуйста, прикинь-ка в уме, какой именно пряничный деспот захочет приобрести мою картинку для своей частной коллекции, лишь бы только она не попала ни к кому постороннему.

Солнце уже обагрило верхушки кокосовых пальм, когда Билли Кьюу вернулся из Casa Morena. Художник встретил его вопросительным взглядом. Кьюу кивнул головой и тотчас же растянулся на койке, подложив руки под голову.

— Я видел его. Он заплатил деньги, вполне превосходно. Сначала меня не хотели пускать к нему. Я сказал, что это очень важно. Да, да, этот президент молодчина. Способная bestия. Безусловно деловое

устройство мозгов. Мне стоило только показать ему снимок и назвать мою цену. Он улыбнулся, пошел к нестораемому шкафу и вынул деньги. С такой легкостью он выложил на стол двадцать новеньких бумажек по тысяче долларов, как я бы положил один доллар и двадцать пять центов. Хорошие бумажки, хрустят, как сухая трава во время пожара.

— Дай пощупать, — сказал с любопытством Уайт. — Я еще никогда не видал тысячедолларовой бумажки.

Кью отозвался не сразу. — Кэрри, — сказал он рассеянно, — тебе дорого твоё искусство, не правда ли?

— Да, — сказал тот. — Ради искусства я готов пожертвовать и своими собственными деньгами и деньгами моих милых друзей.

— Вчера я думал, что ты идиот, — спокойно сказал Кью, — но сегодня я переменяю свое мнение. Или, вернее, я оказался таким же идиотом, как ты. Я никогда не отрекался от жульничества, но всегда искал равного по силам противника, с которым стоило бы потягаться и мозгами и капиталом. Но схватить человека за горло и ввинтить в него винт — нет, темная это работа, и она носит гнусное имя... Она называется... ну, да ты понимаешь. Ты знаешь, что такое профанация искусства... Я почувствовал... ну да ладно. Я разорвал свою карточку, положил клочки на пачку денег, да и отодвинул все назад к президенту. «Простите меня, мистер Лосада, — сказал я, — но, мне кажется, я ошибся в цене. Получайте свою фотографию бесплатно». Теперь, Кэрри, бери-ка ты карандаш, мы составим маленький счетик. Не может быть, чтобы от нашего капитала не осталось достаточной суммы тебе на жареную колбасу, когда ты вернешься в свою нью-йоркскую берлогу.

## XV. Дикки

Последовательность в Анчурии не в моде. Политические бури, бушующие там, перемежаются с глубоким затишьем. Похоже, что даже Время вешает каждый день свою косу на сук апельсинного дерева, чтобы спокойно вздремнуть и выкурить папиросу.

Побунтовав против президента Лосады, страна успокоилась и по-прежнему терпимо взирала на злоупотребления, в которых обвиняла его. В Коралио вчерашние политические враги ходили под ручку, забыв на время все несходство своих убеждений.

Неудача художественной экспедиции не обескуражила Кью. Он падал, как кошка, не разбиваясь. Никакие обиды Фортуны не в силах были изменить его мягкую поступь. Еще на горизонте не рассеялся дым парохода, на котором уехал Уайт, а Кью уже пустился работать своим синим карандашом. Стоило ему сказать одно слово Джедди — и торговый дом Брэнигэн и компания предоставил ему в кредит любые товары. В тот самый день, когда Уайт приехал в Нью-Йорк, Кью, замыкая караван из пяти мулов, навьюченных скобяным товаром и ножами, двинулся внутрь страны, в мрачные, грозные горы. Там племена краснокожих намывают золотой песок из золотоносных ручьев, и когда товар доставляют им на место, торговля в Кордильерах идет бойко и *mu bueno*. В Коралио Время сложило крылья и томной походкой шло своим дремотным путем. Те, кто больше всех наполнял весельем эти душные часы, уже уехали. Клэнси помчался в Калао, где, как ему говорили, шел бой. Джедди, чей спокойный и приветливый характер в свое время сильно помог ему в борьбе с расслабляющим действием лотоса, был теперь семьянин, домосед: он был счастлив со своей яркой орхидеей Паулой и никогда не вспоминал о таинственной запечатанной бутылке, секрет которой, теперь уже не представлявший интереса, надежно хранило море.

Недаром Морж, самый сообразительный зверь, эклектик всех зверей, поместил сургуч в середине своей программы, среди многих других развлекательных номеров.

Этвуд уехал — хитроумный Этвуд с гостеприимной задней веранды. Правда, оставался доктор Грэгг; но история о трепанации



черепа по-прежнему кипела в нем, как лава вулкана, и каждую минуту готова была вырваться наружу, а эта катастрофа, по совести, не могла служить к уменьшению скуки.

Мелодия нового консула звучала в унисон с печальными волнами и безжалостной зеленью тропиков: мелодии Шехерезады и Круглого Стола были чужды его лютне. Гудвин был занят большими проектами, а в свободное время никуда не ходил, потому что полюбил домоседство.

Прежние дружеские связи распались. Иностранная колония скучала.

И вдруг с облаков свалился Дикки Малони и занял своей особой весь город.

Никто не знал, откуда он приехал и каким образом очутился в Коралио. Вдруг в один прекрасный день его увидели на улице, вот и все. Впоследствии он утверждал, будто прибыл на фруктовом пароходе «Тор»; но в списках тогдашних пассажиров этого парохода никакого Малони не значилось. Впрочем, любопытство, вызванное его появлением, скоро улеглось: мало ли какой рыбы не выбрасывают на берег волны Караибского моря.

Это был подвижной, беспечный молодой человек. Привлекательные серые глаза, неотразимая улыбка, смуглое — или очень загорелое — лицо и огненно-рыжие волосы, такие рыжие, каких в этих местах еще никогда не видали. По-испански он говорил так же хорошо, как и по-английски; в кармане у него серебра было вдоволь, и скоро он сделался желанным гостем повсюду. У него была большая слабость к *vino blanco*<sup>[59]</sup>, и скоро весь город узнал, что он один может выпить больше, чем любые три человека в Коралио. Все звали его Дикки; куда бы он ни пришел, всюду встречали его веселым приветом — все, в особенности местные жители, у которых его изумительные рыжие волосы и простота в обращении вызывали восторг и зависть. Куда бы вы ни пошли, вы непременно увидите Дикки или услышите его искренний смех; вечно он был окружен, толпой почитателей, которые любили его и за хороший характер и за то, что он охотно угощал белым вином.

Много было толков и догадок, зачем он приехал сюда, но вскоре все стало ясно: Дикки открыл лавочку для продажи сладостей, табака и различных индейских изделий — шелковых вышивок, туфлей и

плетеных камышовых корзин. Но и после этого он не переменял своего нрава: день и ночь играл в карты с *comandante*, с начальником таможни, шефом полиции и прочими гуляками из местных чиновников.

Однажды Дикки увидел Пасу, дочь мадамы Ортис; она сидела у боковой двери отеля де лос Эстранхерос. И в первый раз за все время своего пребывания в Коралио Дикки остановился как вкопанный, но сейчас же снова сорвался с места и кинулся с быстротою лани разыскивать местного франта Васкеса, чтобы тот представил его Пасе.

Молодые люди называли Пасу «*La Santita Naranjadita*». *Naranjadita* по-испански означает некоторый оттенок цвета. У англичан такого слова нет. Описательно и приблизительно мы могли бы перевести это так: «Святая с замечательно-прекрасно-деликатно-апельсинно-золотистым отливом». Такова и была дочь мадамы Ортис.

Мадама Ортис продавала ром и другие напитки. А ром, да будет вам известно, компенсирует недостатки всех прочих товаров. Ибо не забывайте, что изготовление рома является в Анчурии монополией правительства, а продавать изделия государства есть дело вполне респектабельное. Кроме того, самый строгий цензор нравов не мог бы найти в учреждении мадамы Ортис никакого изъяна. Посетители пили очень робко и мрачно, как на похоронах, ибо у мадамы было такое старинное и пышное родословное дерево, что оно не допускало легкомысленных шуток даже у сидящих за бутылкою рома. Разве она не была из рода Иглесиа, которые прибыли сюда вместе с Пизарро? И разве ее покойный супруг не был *comisionado de caminos y puentes*<sup>[60]</sup> во всей этой области?

По вечерам Паса сидела у окна, в комнатке рядом с распивочной, и сонно перебирала струны гитары. И вскоре в эту комнатку по двое, по трое входили молодые кабаллеро и садились у стены на стулья. Их целью была осада сердца молодой «*Santita*». Их система (не единственная и, вероятно, не лучшая в мире) заключалась в том, что они выпячивали грудь, принимая воинственные позы, и выкуривали бездну папирос. Даже святые с золотисто-апельсинным отливом предпочитают, чтобы за ними ухаживали как-нибудь иначе.

Донья Паса заполняла периоды отравленного никотином молчания звуками своей гитары и с удивлением думала: неужели все романы, которые она читала о галантных и более... более осязательных

кавалерах, — ложь? Через определенные промежутки времени в комнату врывалась из пульперии мадама; что-то в ее взгляде вызывало жажду, и тогда слышалось шуршание накрахмаленных белых брюк, — это один из кабаллеро направлялся к стойке.

Что рано или поздно на этом поприще появится Дикки Малони, можно было предсказать с полной уверенностью. Мало оставалось дверей в Коралию, куда бы он не совал свою рыжую голову.

В невероятно короткий срок после того, как он впервые увидел Пасу, он уже сидел с нею рядом, у самой качалки, на которой сидела она. У него были свои собственные правила ухаживания за молодыми девицами: молчаливое сидение у стены не входило в его программу. Он предпочитал атаку на близкой дистанции. Взять крепость одним концентрированным, пылким, красноречивым, неотразимым штурмом — такова, была его боевая задача.

Род Пасы был один из самых аристократических и горделивых во всей стране. Кроме того, у нее были и большие личные достоинства — два года, проведенные ею в одном новоорлеанском училище, поставили ее значительно выше заурядных коралийских девиц. Она требовала от судьбы гораздо больше. И все же она покорила первого попавшемуся рыжему нахалу с бойким языком и приятной улыбкой, потому что он ухаживал за нею как следует.

Вскоре Дикки повел ее в маленькую церковку, тут же на площади, и ко всем именам Пасы прибавилось еще одно: «миссис Малони».

И вот довелось ей — с такими кроткими, святыми глазами, с фигурой терракотовой Психеи — сидеть за покинутым прилавком убогой лавчонки, покуда ее Дикки пьянствовал и разгильдяйничал со своими беспутными приятелями.

Женщины, как известно, по природе бессознательно склонны к добру, и потому все соседки с большим удовольствием стали запускать в нее шпильки и колоть ее поведением ее молодого супруга. Она обратилась к ним с прекрасным и печальным презрением.

— Вы, коровы, — сказала она им ровным, хрустально-звонким голосом. — Что вы знаете о настоящем мужчине? Все ваши мужья — *maroneros*<sup>[61]</sup>. Они годятся лишь на то, чтобы свертывать себе в тени папироски покуда солнце не припечет их и не выгонит вон. Они, как трутни, валяются у вас в гамаках, а вы причесываете их и кормите свежими фруктами. Мой муж не такой. В нем другая кровь, совсем

другая. Пусть себе пьет вино. Когда он выпьет столько, что можно было бы утопить любого из ваших заморышей, он придет ко мне сюда, домой, и будет больше мужчиной, чем тысяча ваших robrecitos. Тогда он гладит и заплетает мне волосы, он мне, а не я ему. Он поет мне песни; он снимает с меня туфли и целует мои ноги, здесь и здесь. И он обнимает меня... да нет, вы никогда не поймете! Несчастные слепые, никогда не знавшие мужчины!

Иногда по ночам странные вещи творились в лавчонке у Дикки. В переднем помещении, где происходила торговля, было темно, но в маленькой задней комнатке Дикки и небольшая кучка его ближайших приятелей сидели за столом и далеко за полночь тихо беседовали о каких-то делах. Потом он украдкой выпускал их на улицу, а сам шел вверх, к своей маленькой «святой». Ночные гости имели вид заговорщиков: темные костюмы, темные шляпы. Конечно, в конце концов, их темные дела не ускользнули от внимания жителей, и в городе поднялись всевозможные толки.

На иностранцев, живущих в Коралио, Дикки, казалось, не обращал внимания. Он явно избегал Гудвина. А тот хитрый маневр, посредством которого ему удалось ускользнуть от истории доктора Грэгга о трепанации черепа, и до сих пор вызывает в Коралио восторг как шедевр дипломатической ловкости.

Он получал много писем, адресованных «мистеру Дикки Малони» или «Сеньору Диккею Малони». Паса была очень польщена: если столько людей желают ему писать, значит, и вправду цвет его красно-рыжих волос сияет во всем мире. А каково было содержание писем, ее никогда не занимало. Вот бы вам такую жену!

Дикки допустил в Коралио лишь одну оплошность: он оказался без денег в самое неподходящее время. Откуда он вообще добывал свои средства, было загадкой для всех, так как его лавчонка давала ничтожную прибыль. Деньги приходили к нему из какого-то другого источника, и вдруг этот источник иссяк, и в очень тяжелую пору; иссяк тогда, когда *comandante* дон сеньор полковник Энкарнасион Риос взглянул на святую, сидевшую в лавке, и почувствовал, как сердце у него пошло ходуном.

*Comandante*, который был тончайшим знатоком всех галантных наук, раньше всего выразил свои чувства деликатным, не навязчивым намеком: он напялил на себя парадный мундир и стал шагать перед

окнами сеньоры Малони. Паса застенчиво глянула на него из окошка своими святыми глазами, увидела, что он страшно похож на ее попугая Чичи, и на лице у нее появилась улыбка.

Comandante увидел улыбку и, решив, что произвел впечатление, вошел в лавку с интимным видом и приблизился к даме, чтобы сказать комплимент. Паса съежилась, он не унимался. Она царственно разгневалась, он, очарованный еще больше, стал настойчивее, она приказала ему уйти вон; он попробовал схватить ее за руку, и... вошел Дикки, широко улыбаясь, полный белого вина и дьявола.

Пять минут он потратил на то, чтобы наказать comandante самым тщательным научным способом, то есть принял все меры, чтобы боль от побоев не прекращалась возможно дольше. По окончании экзекуции он вышвырнул пылкого волокиту за дверь, на камни мостовой, бездыханного.

Босоногий полицейский, наблюдавший это происшествие, вынул свисток и свистнул. Из-за угла, из казармы прибежали четыре солдата. Когда они увидели, что нарушитель порядка — Дикки, они остановились в испуге и тоже стали свистеть. Скоро пришло подкрепление еще восемь солдат. Считая, что силы сторон теперь примерно равны, воины стали наступать на буяна.

Дикки, все еще не остывший от боевого пыла, нагнулся к ножнам comandante и, обнажив его шпагу, напал на врага. Он прогнал регулярную армию через четыре квартала, подгоняя шпагой визжащий арьергард и норовя уколоть шоколадные пятки.

Но справиться с гражданскими властями оказалось труднее. Шесть ловких, мускулистых полицейских в конце концов одолели его и победоносно, хоть и с опаской, потащили в тюрьму. El Diablo Colorado<sup>[62]</sup>, — ругали они его и издевались над военными силами за то, что те отступили перед ним.

Дикки было предоставлено, вместе с другими арестантами, смотреть из-за решетчатой двери на заросшую травой площадь, на ряд апельсиновых деревьев да на красные черепичные крыши и глиняные стены каких-то захудалых лавчонок

На закате по тропинке, пересекающей площадь, потянулось печальное шествие: скорбные, понурые женщины, несущие бананы, кассаву и хлеб — пропитание жалким узникам, томящимся здесь в заключении. Женщинам было разрешено приходить дважды в день:

утром и вечером, ибо республика давала своим подневольным гостям воду, но не пищу.

В этот вечер часовой выкрикнул имя Дикки, и он подошел к железным прутьям двери. У двери стояла «святая», покрытая черной мантилей. Ее лицо было воплощение грусти; ясные глаза смотрели на Дикки так жадно и страстно, словно хотели извлечь его из-за решетки сюда, к ней. Она принесла жареного цыпленка, два-три апельсина, сласти и белый хлебец. Солдат осмотрел принесенную пищу и вручил ее Дикки. Паса говорила спокойно, — она всегда говорила спокойно, — своим чарующим голосом, похожим на флейту.

— Ангел моей жизни, — сказала она. — Воротись ко мне скорее. Ты знаешь, что жизнь для меня тяжкое бремя, если ты не со мною, не рядом. Скажи мне, чем я могу тебе помочь. Если же я бессильна, я буду ждать — но недолго. Завтра утром я приду опять.

Сняв башмаки, чтобы не мешать другим заключенным, Дикки полночи прошагал по камере, проклиная свое безденежье и причину его, какова бы она ни была. Он отлично знал, что деньги сразу купили бы ему свободу.

Два дня подряд Паса приходила к нему в урочное время и приносила поесть. Всякий разгон спрашивал ее с большим волнением, не получено ли по почте какое-нибудь письмо или, может быть, пакет, и всякий раз она грустно качала головой.

На утро третьего дня она принесла только маленькую булочку. Под глазами у нее были темные круги. По внешности она была так же спокойна, как всегда.

— Клянусь чертом, — воскликнул Дикки, — это слишком постный обед, *muchachita*<sup>[63]</sup>. Не могла ты принести своему мужу чего-нибудь повкуснее, побольше?

Паса посмотрела на него, как смотрит мать на любимого, но капризного сына.

— Не надо сердиться, — сказала она тихим голосом, — завтра не будет и этого. Я истратила последний *centavo*.

Она сильнее прижалась к решетке.

— Продай все товары в лавке, возьми за них, сколько дадут.

— Ты думаешь, я не пробовала? Я хотела продать их за какие угодно деньги, хоть за десятую долю цены. Но никто не дает ни одного песо. Чтобы помочь Дикки Малони, в городе нет ни реала.

Дикки мрачно сжал зубы.

— Это все *comandante*, — сказал он. — Это он восстанавливает всех против меня. Но подожди, подожди, когда откроются карты.

Паса заговорила еще тише, почти шепотом.

— И слушай, сердце моего сердца, — сказала она, — я старалась быть сильной и смелой, но я не могу жить без тебя. Вот уже три дня...

Дикки увидал, что в складках ее мантильи слабо блеснула сталь. Взглянув на него. Паса впервые увидела его лицо без улыбки — строгое, выражающее угрозу и какую-то непреклонную мысль. И вдруг он поднял руку, и на лице у него опять засияла улыбка, словно взошло солнце. С моря донесся хриплый рев паровой сирены. Дикки обратился к часовому, который шагал перед дверью.

— Какой это пароход?

— «Катарина».

— Компании «Везувий»?

— Несомненно.

— Слушай же, *picarilla*<sup>[64]</sup>, — весело сказал Дикки. — Ступай к американскому консулу. Скажи ему, что мне нужно сказать ему несколько слов. И пусть придет сию минуту, не медля. Да смотри, чтобы я больше не видал у тебя таких замученных глаз. Обещаю тебе, что сегодня же ночью ты положишь голову на эту руку.

Консул пришел через час. Подмышкой у него был зеленый зонтик, и он нетерпеливо вытирал платком лоб.

— Ну, вот видите, Малони, — сказал он раздраженно. — Вы все думаете, что вы можете сколько угодно скандалить, а консул должен вызволять вас из беды. Я не военное министерство и не золотой рудник. У этой страны, знаете ли, есть свои законы, и между прочим у нее есть закон, воспрещающий вышибать мозги из регулярной армии. Вы, ирландцы, вечно затеваете драки. Нет, я ничем не могу вам помочь. Табаку, пожалуй, я пришлю... или, скажем, газету...

— Несчастный! — сурово прервал его Дикки. — Ты не изменился ни на йоту. Точно такую же речь, слово в слово, ты произнес и тогда, когда — помнишь? — на хоры нашей церковки забрались гуси и ослы старика Койна и виновные в этом деле хотели спрятаться у тебя в комнате.

— Боже мой! — воскликнул консул, быстро поправляя очки. — Неужели вы тоже окончили Иэльский университет? Вы тоже были

среди шутников? Я не помню никого такого рыж... никого с такой фамилией — Малони. Ах, сколько бывших студентов упустили те возможности, которые им дало образование! Один из наших лучших математиков выпуска девяносто первого года продает лотерейные билеты в Белисе. В прошлом месяце сюда заезжал один человек, окончивший университет Корнелла. Теперь он младший стюард на пароходе, перевозящем птичий помет, гуано. Если вы хотите, я, пожалуй, напишу в департамент, Малони. Также, если вам нужен табак или, скажем, газеты...

— Мне нужно одно, — прервал его Дикки, — скажите капитану «Катарини», что Дикки Малони хочет его видеть возможно скорее. Скажите ему, что я здесь. Да поживее. Вот и все.

Консул был рад, что так дешево отделался, и поспешил уйти. Капитан «Катарини», здоровяк, родом из Сицилии, скоро пробился к дверям тюрьмы, без всякой церемонии растолкав часовых. Так всегда вели себя в Коралио представители компании «Везувий».

— Ах, как жаль! Мне очень больно видеть вас в таком тяжелом положении, — сказал капитан. — Я весь к вашим услугам, мистер Малони. Все, что вам нужно, будет вам доставлено. Все, что вы скажете, будет сделано.

Дикки посмотрел на него без улыбки. Его красно-рыжие волосы не мешали ему быть суровым и важным. Он стоял, высокий и спокойный, сомкнув губы в прямую горизонтальную линию.

— Капитан де Люкко, мне кажется, что у меня еще есть капиталы в паровой компании «Везувий», и капиталы довольно обширные, принадлежащие лично мне.

Еще неделю назад я распорядился, чтобы мне перевели сюда некоторую сумму немедленно. Но деньги не прибыли. Вы сами знаете, что необходимо для этой игры. Деньги, деньги и деньги. Почему же они не были посланы? Де Люкко ответил, горячо жестикулируя:

— Деньги были посланы на пароходе «Кристоваль», но где «Кристоваль»? Я видел его у мыса Антонио со сломанным валом. Какой-то катер тащил его за собой на буксире обратно в Новый Орлеан. Я взял деньги и привез их с собой, потому что знал, что ваши нужды не терпят отлагательства. В этом конверте тысяча долларов. Если вам нужно еще, можно достать еще.



— Покуда и этих достаточно, — сказал Дикки, заметно смягчаясь, потому что, разорвав конверт, он увидел довольно толстую пачку зеленых, гладких, грязноватых банкнот.

— Зелененькие! — сказал он нежно, и во взгляде его появилось благоговение. — Чего только на них не купишь, правда, капитан?

— В свое время, — ответил де Люкко, который был немного философом, — у меня было трое богатых друзей. Один из них спекулировал на акциях и нажил десять миллионов; второй уже на том свете, а третий, женился на бедной девушке, которую любил.

— Значит, — сказал Дикки, — ответа надо искать у, всевышнего, на Уолл-стрит и у Купидона. Так и будем знать.

— Скажите, пожалуйста, — спросил капитан, охватывая широким жестом всю обстановку, окружавшую Дикки, — находится ли все это в связи с делами вашей маленькой лавочки? Ваши планы не потерпели крушения?

— Нет, нет, — сказал Дикки. — Это просто маленькое частное дело, некоторый экскурс в сторону от моего основного занятия. Говорят, что для полноты своей жизни человек должен испытать бедность, любовь и войну. Может быть, но не сразу, не в одно и то же время, *caripian mio*. Нет, я не потерпел неудачи в торговле. Дела в лавчонке идут хорошо.

Когда капитан ушел, Дикки позвал сержанта тюремной стражи и спросил:

— Какою властью я задержан? Военной или гражданской?

— Конечно, гражданской. Военной положение снято.

— Виено! Пойдите же и пошлите кого-нибудь к алькаду, мировому судье и начальнику полиции. Скажите им, что я готов удовлетворить правосудие.

Сложенная зеленая бумажка скользнула в руку сержанта.

Тогда к Дикки вернулась его былая улыбка, ибо он знал, что часы его заточения сочтены; и он стал напевать в такт шагам своих часовых:

Нынче вешают и женщин и мужчин, Если нет у них зеленой бумажки

Таким образом, в тот же вечер Дикки сидел у окна своей комнаты, на втором этаже над лавкой, а рядом с ним сидела «святая» и вышивала что-то шелковое, очень изящное. Дикки был задумчив и серьезен. Его рыжие волосы были в необыкновенном беспорядке.

Пальцы Пасы так и тянулись поправить и погладить их, но Дикки никогда не позволял ей этого. Весь вечер он корпел над какими-то географическими картами, книгами, бумагами, покуда у него на лбу не появилась та вертикальная черточка, которая всегда беспокоила Пасу. Наконец, она встала, ушла, принесла его шляпу и долго стояла с шляпой, пока он не взглянул на нее вопросительным взглядом.

— Дома тебе невесело, — пояснила она. — Пойди и выпей vino blanco. Приходи назад, когда у тебя опять появится твоя прежняя улыбка.

Дикки засмеялся и отодвинул бумаги.

— Теперь мне не до vino blanco. Эта эпоха прошла. Вино сыграло свою роль, и довольно. Сказать правду, гораздо больше входило мне в уши, чем в рот. Едва ли кто догадывался об этом. Но сегодня не будет больше ни карт, ни морщин на лбу. Обещаю. Иди сюда.

Они сели у окна и стали смотреть, как отражаются в море дрожащие огоньки «Катарины».

Вдруг заструился негромкий смех Пасы. Она редко смеялась вслух.

— Я подумала, — сказала она, чувствуя, что Дикки не может понять ее смеха, — я подумала, как глупы бываем мы, девушки. Вот я, поучилась в Штатах и чего только не воображала! Представь себе, я мечтал а о том, чтобы сделаться женой президента. Женою президента — не меньше. Но вышла за рыжего жулика — и живу в нищете, в темноте.

— Не теряй надежды, — сказал Дикки улыбаясь. — В Южной Америке было немало президентов из ирландского племени. В Чили был диктатор по имени О'Хиггинс Почему Малони не может быть президентом Анчурии? Скажи только слово, santita mia, и я приложу все усилия, чтобы занять эту должность.

— Нет, нет, нет, ты, рыжий разбойник, — вздохнула Паса. — Я довольна (она положила голову ему на плечо) и здесь.

## XVI. Rogue et noir

Мы уже упоминали о том, что с самого начала своего президентстве Лосада сумел заслужить неприязнь народа. Это чувство продолжало расти. Во всей республике чувствовалось молчаливое, затаенное недовольство. Даже старая либеральная партия, которой так горячо помогали Гудвин, Савалья и другие патриоты, разочаровалась в своем ставленнике. Лосаде так и не удалось сделаться народным кумиром. Новые налоги и новые пошлины на ввозимые товары, а главное, потворство военным властям, которые притесняли гражданское население страны, сделали его одним из самых непопулярных правителей со времен презренного Альфорана. Большинство его собственного кабинета было в оппозиции к нему. Армия, перед которой он заискивал, которой он разрешал тиранить мирных жителей, была его единственной и до поры до времени достаточно прочной опорой.

Но самым опрометчивым поступком нового правительства была ссора с паровой компанией «Везувий». У этой организации было двенадцать своих пароходов, а капитал ее выражался в сумме несколько большей, чем весь бюджет Анчурии — весь ее дебет и кредит.

Естественно, что такая солидная фирма, как компания «Везувий», не могла не разгневаться, когда вдруг какая-то ничтожная розничная республика вздумала выжимать из нее лишние деньги. Так что когда агенты правительства обратились к компании «Везувий» за субсидией, они встретили учтивый отказ. Президент сквитался с нею, наложив на нее новую пошлину: реал с каждого пучка бананов — вещь, невиданная во фруктовых республиках! Компания «Везувий» вложила большие капиталы в пристани и плантации Анчурии, служащие этой компании выстроили себе в городах, где им приходилось работать, прекрасные дома и до этого времени были в наилучших отношениях с республикой к несомненной выгоде обеих сторон. Если бы компания вынуждена была покинуть страну, она потерпела бы большие убытки — продажная цена бананов — от Вэра-Крус до Тринидада — три реала за один пучок. Эта новая пошлина — один реал — должна была

разорить всех садоводов Анчурии и причинила бы большие неудобства компании «Везувий», если бы компания отказалась платить. Все же по какой-то непонятной причине «Везувий» продолжал покупать анчурийские фрукты, платя лишний реал за пучок и не допуская, чтобы владельцы плантаций потерпели убытки.

Эта кажущаяся победа ввела его превосходительство в заблуждение, и он возжаждал новых триумфов. Он послал своего эмиссара для переговоров с представителем компании «Везувий». «Везувий» направил для этой цели в Анчурию некоего мистера Франзони, маленького, толстенького, жизнерадостного человечка, всегда спокойного, вечно насвистывающего арии из опер Верди. В интересах Анчурии был уполномочен действовать сеньор Эспирисион, чиновник министерства финансов. Свидание состоялось в каюте парохода «Спаситель».

Сеньор Эспирисион с первых же слов сообщил, что правительство намерено построить железную дорогу, соединяющую береговые районы страны. Указав, что благодаря этой железной дороге «Везувий» окажется в больших барышах, сеньор Эспирисион добавил, что, если «Везувий» даст правительству ссуду на постройку дороги, — скажем, пятьдесят тысяч песо, — эта трата в скором времени окупится полностью.

Мистер Франзони утверждал, что никаких выгод от железной дороги для компании «Везувий» не будет. Как представитель компании, он считает невозможным выдать ссуду в пятьдесят тысяч pesos. Но он на свою ответственность осмелился бы предложить двадцать пять.

— Двадцать пять тысяч pesos? — переспросил дон сеньор Эспирисион.

— Нет. Просто двадцать пять pesos. И не золотом, а серебром.

— Своим предложением вы оскорбляете мое правительство! — воскликнул сеньор Эспирисион, с негодованием вставая с места.

— Тогда, — сказал мистер Франзони угрожающим тоном, — мы переменим его.

Предложение не подверглось никаким переменам. Неужели мистер Франзони говорил о перемене правительства?

Таково было положение вещей в Анчурии, когда, в конце второго года правления Лосады, в Коралио открылся зимний сезон. Так что,

когда правительство и высшее общество совершили свой ежегодный въезд в этот приморский город, президента встретили без всяких чрезмерных восторгов. Приезд президента и веселящихся представителей высшего света был назначен на десятое ноября. От Солитаса на двадцать миль в глубь страны идет узкоколейная железная дорога. Обычно правительство следует в экипажах из Сан-Матео до конечного пункта этой дороги и дальше едет поездом в Солитас. Оттуда торжественная процессия тянется к Коралио, где в день ее прибытия устраиваются пышные торжественные празднества. Но в этом году наступление десятого ноября предвещало мало хорошего.

Хотя время дождей уже кончилось, воздух был душный, как в июне. До самого полудня моросил мелкий, унылый дождик. Процессия въехала в Коралио среди странного, непонятного молчания.

Президент Лосада был пожилой человек с седеющей бородкой, его желтое лицо изобличало изрядную примесь индейской крови. Он ехал впереди всей процессии. Его карету окружала кавалькада телохранителей: знаменитая кавалерийская сотня капитана Круса — El Ciento Huilando. Сзади следовал полковник Рокас с батальоном регулярного войска.

Остренькие, круглые глазки президента беспокойно бегали по сторонам: президент ожидал приветствий, но всюду он видел сумрачные, равнодушные лица. Жители Анчурии любят зрелища, это у них в крови. Они зеваки по профессии; поэтому все население, за исключением тяжело больных, высыпало на улицу посмотреть на торжественный поезд. Но стояли, смотрели — и молчали.

Молчали неприязненно. Заполнили всю улицу, до самых колес кареты, залезли на красные черепичные крыши, но хоть бы один крикнул *viva*. Ни венков из пальмовых и лимонных веток, ни гирлянд из бумажных роз не свешивалось с окон и балконов, хотя этого требовал стародавний обычай Апатия, уныние, молчаливый, упрек чувствовались в каждом лице. Это было тем более тяжко, что нельзя было понять, в чем дело. Вспышки народного гнева президент не боялся: у этой недовольной толпы не было вождя. Ни Лосада, ни его верноподданные никогда не слыхали ни об одном таком имени, которое могло бы организовать глухое недовольство в оппозицию. Нет, никакой опасности не было. Толпа сначала обзаводится новым кумиром и лишь тогда свергает старый.

Майоры с алыми шарфами, полковники с золотым шитьем на мундирах, генералы в золотых эполетах — все это гарцевало и охорашивалось, а потом процессия повернула на Калье Гранде, построилась в новом порядке и направилась к летнему дворцу президента, Casa Mogena, где ежегодно происходила официальная встреча новоприбывшего хозяина страны.

Во главе процессии шел швейцарский оркестр. Затем comandante верхом, с отрядом войска. Затем карета с четырьмя министрами, среди которых особенно выделялся военный министр, старик, генерал Пилар, седоусый, с военной осанкой. Затем окруженная сотней капитана Круса карета президента, где находились также министр финансов и министр внутренних дел. А за ними остальные сановники, судьи, важные военные и другие украшения общества.

Едва заиграл оркестр и процессия, тронулась, как в водах Коралио, словно какая-то зловеющая птица, появился пароход «Валгалла», самое быстроходное судно компании «Везувий». Появился перед самыми глазами президента и всех его приближенных. Разумеется, в этом не было ничего угрожающего: промышленные фирмы не воюют с государствами, но и сеньор Эспирисион и еще кое-кто из сидевших в колясках сейчас же подумали, что компания «Везувий» готовит им какой-то сюрприз.

Покуда процессия двигалась по направлению к дворцу, капитан «Валгаллы» и мистер Винченти, один из членов компании «Везувий», успели высадиться на берег. Весело, задорно, небрежно протискались они сквозь толпу. Это были крупные, упитанные люди, благодущные и в то же время властные; они были в белоснежных полотняных костюмах и, естественно, привлекали внимание среди темных и мало импозантных туземцев. Они пробились сквозь толпу и встали на виду у всех в нескольких шагах от ступенек дворца. Глядя поверх голов, они заметили, что над низкорослой толпой возвышается еще одна голова: это была рыжая макушка Дикки Малони — яркое пятно на фоне белой стены неподалеку от нижней ступени. Широкая, чарующая улыбка, появившаяся у Дикки на лице, показала, что он заметил их появление...

Как и подобало в такой высокаторжественный день, Дикки был в черном, отлично сшитом костюме. Паса стояла тут же рядом. Голова ее была покрыта неизменной черной мантильей.

Мистер Винченти внимательно посмотрел на нее.

— Мадонна Ботичелли, — сказал он серьезно. — Хотел бы я знать, как она попала в это дело: мне, признаться, не нравится, что тут замешана женщина, лучше бы ему держаться от них подальше.

Капитан Кронин засмеялся так громко, что чуть было не отвлек внимание толпы от процессии.

— Это с такой-то шевелюрой держаться подальше от женщин! Да еще фамилия-то какая ирландская. А что, разве он женился без необходимых формальностей? Но оставим вздор, что вы думаете обо всем этом деле? Признаться, я мало смыслю в таких флибустьерских затеях.

Винченти снова посмотрел на огненную макушку Дикки.

— Rouge et noir, — сказал он улыбаясь. — Это как в рулетке: красное и черное. Делайте вашу игру, джентльмены! Наши деньги на красном.

— Малый он стоящий, — сказал капитан, одобрительно глядя на высокого, изящного Дикки. — Но все это вместе до странности напоминает мне любительский домашний спектакль.

Они перестали разговаривать, так как в это самое время генерал Пилар вышел из кареты и встал на верхней ступеньке дворца. Согласно обычаю, он, как старейший член кабинета, должен был произнести приветственную речь и вручить президенту ключи от его официальной резиденции.

Генерал Пилар был один из самых уважаемых граждан республики. Герой трех войн, участник революции, почетный гость многих европейских дворов, друг народа, красноречивый оратор, он являл собою высший тип анчурийца.

Держа в руке позолоченные ключи дворца, он начал свою речь в ретроспективной, исторической форме. Он указал, как постепенно, от самых отдаленных времен, в стране воцарялись культура и свобода, росло народное благосостояние. Перейдя затем к правлению президента Лосады, он, согласно обычаю, должен был воздать горячую хвалу его мудрости и заявить о благоденствии его народа. Но вместо этого он замолчал. А потом, не говоря ни слова, поднял ключи высоко у себя над головой и стал внимательно рассматривать их. Лента, перевязывающая эти ключи, заметалась от налетевшего ветра.

— Он все еще дует, этот ветер! — воскликнул в экстазе оратор. — Граждане Анчурии, воздадим благодарность святителям: наш воздух, как и прежде, свободен!

Покончив таким образом с правлением Лосады, он неожиданно перешел к Оливарре, самому любимому из всех анчурийских правителей. Оливарра был убит девять лет тому назад, в полном расцвете сил, в разгаре полезной, плодотворной работы. По слухам, в этом преступлении была виновата либеральная партия, во главе которой стоял тогда Лосада. Верны были эти слухи или нет, несомненно одно, что вследствие этого убийства честолюбивый карьерист Лосада только через восемь лет добился верховной власти.

Красноречие Пилара полилось вольным потоком, чуть он подошел к этой теме. Любящей рукой нарисовал он образ благородного Оливарры. Он напомнил, как счастливо и мирно жилось народу в то время. Как бы для контраста, он воскресил в уме слушателей, какими оглушительными *vivas* встречали президента Оливарру в Коралио.

В этом месте речи впервые народ стал проявлять свои чувства. Тихий, глухой ропот прокатился по рядам, как волна по морскому побережью.

— Ставлю десять долларов против обеда в «Святом Карлосе», — сказал мистер Винченти, — что красное выиграет.

— Я никогда не держу пари против своих же интересов, — ответил капитан, зажигая сигару. — Красноречивый старичок, ничего не скажешь. О чем он говорит?

— Я понимаю по-испански, — отозвался Винченти, — если в одну минуту говорят десять слов. А здесь — не меньше двухсот. Что бы он ни говорил, он здорово разжигает их.

— Друзья и братья, — говорил между тем генерал, — если бы сегодня я мог протянуть свою руку над горестным молчанием могилы Оливарре «Доброму», Оливарре, который был вашим другом, который плакал, когда вы страдали, и смеялся, когда вы веселились, если бы я мог протянуть ему руку, я привел бы его снова к вам, но Оливарра мертв — он пал от руки подлого убийцы!

Тут оратор повернулся к карете президента и смело посмотрел на Лосаду. Его рука все еще была поднята вверх. Президент вне себя, дрожа от изумления и ярости, слушал эту необычайную



приветственную речь. Он откинулся назад, его темнокожие руки крепко сжимали подушки кареты.

Потом он встал, протянул одну руку к оратору и громко скомандовал что-то капитану Круссу, начальнику «Летучей сотни». Но тот продолжал неподвижно сидеть на коне, сложив на груди руки, словно и не слышал ничего. Лосада снова откинулся на подушки кареты; его темные щеки заметно побледнели.

— Но кто сказал, что Оливарра мертв? — внезапно выкрикнул оратор, и, хотя он был старик, его голос зазвучал, как боевая труба. — Тело Оливарры в могиле, но свой дух он завещал народу, да, и свои знания, и свою доблесть, и свою доброту, и больше — свою молодость, свое лицо, свою фигуру... Граждане Анчурии, разве вы забыли Рамона, сына Оливарры?

Капитан и Винченти, внимательно глядевшие все время на Дикки, вдруг увидели, что он снимает шляпу, срывает с головы красно-рыжие волосы, вскакивает на ступеньки и становится рядом с генералом Пиларом. Военный министр положил руку ему на Плечо. Все, кто знал президента Оливарру, вновь увидели ту же львиную позу, то же смелое, прямое выражение лица, тот же высокий лоб с характерной линией черных, густых, курчавых волос...

Генерал Пилар был опытный оратор. Он воспользовался минутой безмолвия, которое обычно предшествует буре.

— Граждане Анчурии! — прогремел он, потрясая у себя над головой ключами от дворца. — Я пришел сюда, чтобы вручить эти ключи, ключи от ваших домов, от вашей свободы, избранному вами президенту. Кому же передать эти ключи — убийце Энрико Оливарры или его сыну?

— Оливарра, Оливарра! — закричала и завывала толпа. Все выкрикивали это магическое имя, — мужчины, женщины, дети и попугаи.

Энтузиазм охватил не только толпу. Полковник Рокас взошел на ступени и театрально положил свою шпагу к ногам молодого Рамона Оливарры. Четыре министра обняли его, один за другим. По команде капитана Крусса, двадцать гвардейцев из «Летучей сотни» спешили и образовали кордон на ступенях летнего дворца.

Но тут Рамон Оливарра обнаружил, что он действительно гениальный политик. Мановением руки он удалил от себя стражу и

сошел по ступеням к толпе. Там, внизу, нисколько не теряя достоинства, он стал обниматься с пролетариатом: с грязными, с босыми, с краснокожими, с караибами, с детьми, с нищими, со старыми, с молодыми, со святыми, с солдатами, с грешниками — всех обнял, не пропустил никого.

Пока на подмостках разыгрывалось это действие драмы, рабочие сцены тоже не сидели без дела. Солдаты Круса взяли под уздцы лошадей, впряженных в карету Лосады; остальные окружили карету тесным кольцом и ускакали куда-то с диктатором и обоими непопулярными министрами. Очевидно, им заранее было приготовлено место. В Коралио есть много каменных зданий с хорошими, надежными решетками.

— Красное выиграло, — сказал мистер Винченти, спокойно закуривая еще одну сигару.

Капитан уже давно всматривался в то, что происходило внизу у каменных ступеней дворца.

— Славный мальчик! — сказал он внезапно, как будто с облегчением. — А я все думал: неужели он забудет свою милую?

Молодой Оливарра снова взошел на террасу дворца и сказал что-то генералу Пилару. Почтенный Ветеран тотчас же спустился по ступеням и подошел к Пасе, которая, вне себя от изумления, стояла на том самом месте, где Дикки оставил ее. Сняв шляпу с пером, сверкая орденами и лентами, генерал сказал ей несколько слов, подал руку и повел вверх по каменным ступеням дворца. Рамон Оливарра сделал несколько шагов ей навстречу и на глазах у всех взял ее за обе руки.

И тут, когда ликование возобновилось с новой силой, Винченти и капитан повернулись и направились к берегу, где их ожидала гичка.

— Вот и еще один «presidente proclamado»<sup>[65]</sup>, — задумчиво сказал мистер Винченти. — Обычно они не так надежны, как те, которых избирают. Но в этом молодце и в самом деле как будто много хорошего. Всю эту военную кампанию и выдумал и провел он один. Вдова Оливарры, вы знаете, была женщина состоятельная. После того как убили ее мужа, она уехала в Штаты и дала своему сыну образование в Иэльском университете. Компания «Везувий» разыскала его и оказала ему поддержку в этой маленькой игре.

— Как это хорошо в наше время, — сказал полушутя капитан, — иметь возможность низвергать президентов и сажать на их место

других по собственному своему выбору.

— О, это чистый бизнес, — заметил Винченти, остановившись и предлагая окурок сигары обезьяне, которая качалась на ветвях лимонного дерева. — Нынче бизнес управляет всем миром. — Нужно же было как-нибудь понизить цену бананов, уничтожить этот лишний реал. Мы и решили, что это будет самый быстрый способ.

## XVII. Две отставки

Прежде чем опустить занавес над этой комедией, сшитой из пестрых лоскутьев, мы считаем своим долгом выполнить три обязательства. Два из них были обещаны; третье не менее важно.

В самом начале книги, в программе этого тропического водевиля, мы обещали поведать читателю, почему Коротыш О'Дэй, агент Колумбийского сыскного агентства, потерял свое место. Было также обещано, что загадочный Смит снова явится на сцену и расскажет, какую тайну он увидел в ту ночь, когда сидел на берегу, на песке под кокосовой пальмой, разбрасывая вокруг этого дерева столько сигарных окурков. Но, кроме того, мы обязаны совершить нечто большее — снять мнимую вину с человека, совершившего, если судить по приведенным выше (правдиво изложенным) фактам, серьезное преступление. И все эти три задачи выполнит голос одного человека.

Два субъекта сидели на одном из молвов Северной реки в Нью-Йорке. Пароход, только что прибывший из тропиков, стал выгружать на пристань апельсины и бананы. Порою от перезревших гроздьев отваливался банан, а порою и два, и тогда один из субъектов не спеша вставая с места, хватал добычу и делился с товарищем.

Один из этих людей был в состоянии крайнего падения. Все, что могли сделать с его платьем солнце, ветер и дождь, было сделано. На лице у него было начертано чрезмерное пристрастие к выпивке. И все же на его пунцовом носу сверкало безупречное золотое пенсне.

Другой еще не успел так далеко зайти по наклонной Дороге Слабых. Правда, он тоже, по-видимому, знавал лучшие времена. Но все же там, где он бродил, еще были тропинки, по которым он мог, без вмешательства чуда, снова выйти на путь полезного труда. Он был невысокого роста, но коренастый и крепкий. У него были мертвые рыбки глаза и усы, как у бармена, смешивающего за стойкой коктейли. Мы знаем этот глаз и этот ус: мы видим, что Смит, обладатель роскошной яхты, щеголявший таким пестрым костюмом, приезжавший в Коралио непонятно зачем и уехавший оттуда неизвестно куда, — этот самый Смит опять появился на сцене, хотя и лишенный аксессуаров былого величия.

Сунув себе в рот третий банан, человек в золотом пенсне внезапно выплюнул его с гримасой отвращения.

— Черт бы побрал все фрукты! — сказал он презрительным тоном патриция. — Два года я прожил в тех самых краях, где растет эта дрянь. Ее вкус навеки остается во рту. Апельсины лучше. Постарайтесь, О'Дэй, подобрать мне в следующий раз парочку апельсинов, если они выпадут из какой-нибудь дырявой корзинки.

— Так вы жили там, где мартышки? — спросил О'Дэй, у которого немного развязался язык под влиянием солнца и благодатных плодов. — Я тоже там был как-то раз. Но недолго, несколько часов. Это когда я служил в Колумбийском сыскном агентстве. Тамошние мартышки и подгадили мне. Если б не они, я бы и сейчас был в сыскном. Я расскажу вам все дело.

В один прекрасный день получается у нас в конторе такая записка: «Пришлите сию минуту О'Дэя. Важное дело». Записка от самого шефа. Я в ту пору был один из самых шустрых агентов. Мне всегда поручали серьезные дела. Дом, откуда писал шеф, находился в районе Уолл-стрит.

Приехав на место, я нашел шефа в чьей-то частной конторе: его окружали большие дельцы, и у каждого была на лице неприятность. Они рассказали, в чем дело. Президент страхового общества «Республика» убежал неизвестно куда, захватив с собою сто тысяч долларов. Директоры общества очень желали, чтобы он воротился, но еще больше им хотелось воротить эти деньги, которые, по их словам, были им нужны до зарезу. Им удалось дознаться, что в этот же День, рано утром, старик со всем семейством, состоявшим из дочери и большого саквояжа, уехал на фруктовом пароходе в Южную Америку.

У одного из директоров была наготове яхта, и он предложил ее мне, *carte blanche*. Через четыре часа я уже мчался по горячим следам в погоне за фруктовом суденышком. Я сразу смекнул, куда улепетывает этот старый Уорфилд — такое у него было имя: Дж. Черчилл Уорфилд. В то время у нас были договоры со всеми странами о выдаче преступников, со всеми, за исключением Бельгии и этой банановой республики, Анчурии. В Нью-Йорке не было ни одной фотографической карточки старого Уорфилда; он, лисица, был слишком хитер, не снимался, но у меня было подробное описание его наружности. И, кроме того, с ним была дама — это тоже недурная

примета. Она была важная птица, из самого высшего общества, не из тех, чьи портреты печатают в воскресных газетах, а настоящая. Из тех, что открывают выставки хризантем и крестят броненосцы.

Представьте, сэр, нам так и не удалось догнать эту фруктовую лоханку. Океан велик, — вероятно, мы поехали разными рейсами, но мы все держали курс на Анчурию, куда, по расписанию, направлялся и фруктовщик.

Через несколько дней, часа в четыре, мы подъехали к этой обезьяньей стране Недалеко от берега стояло какое то плюгавое судно, его грузили бананами. Мартышки подвозили к нему бананы на шлюпках. Может быть, это был тот пароход, на котором приехал мой старик, а может быть и нет Неизвестно. Я пошел на берег — порасспросить, поискать. Виды кругом — красота. Я таких не видал даже в нью-йоркских театрах. Вижу, стоит на берегу среди мартышек рослый, спокойный детина. Я к нему, где здесь консул? Он показал. Я пошел. Консул был молодой и приятный. Он сказал мне, что этот пароход — «Карлсефин», что обычный его рейс — Новый Орлеан, но что сейчас он прибыл из Нью-Йорка. Тогда я решил, что мои беглецы тут и есть, хотя все говорили, что на «Карлсефине» не было никаких пассажиров. Я решил, что они прячутся и ждут темноты, чтобы высадиться на берег ночью. Я думал: может быть, их напугала моя яхта? Мне оставалось одно: ждать и захватить их врасплох, чуть они выйдут на берег. Я не мог арестовать старика Уорфилда, мне нужно было разрешение тамошних властей, но я надеялся выцарапать у него деньги Они почти всегда отдают вам украденное, если вы нагрываете на них, когда они расшатаны, устали, когда у них развинчены нервы.

Чуть только стемнело, я сел под кокосовой пальмой на берегу, а потом встал и пошел побродить. Ну уж и город! Лучше оставаться в Нью-Йорке и быть честным, чем жить в этом мартышкином городе, хотя бы и с миллионом долларов.

Глиняные гнусные мазанки; трава на улицах такая, что тонет башмак; женщины без рукавов, с голой шеей, ходят и курят сигары; лягушки сидят на деревьях и дребезжат, как телега с пожарной кишкой, горы (с черного хода), море (с парадного). Горы сыплют песок, море смывает краску с домов. Нет, сэр, лучше человеку жить в стране господ бога<sup>[66]</sup> и кормиться у стойки с бесплатной закуской.

Главная улица тянулась вдоль берега, и я пошел по ней и повернул в переулок, где дома были из соломы и каких-то шестов. Мне захотелось посмотреть, что делают мартышки у себя дома, в жилищах, когда они не шмыгают по кокосовым деревьям. И в первой же лачуге, куда я заглянул, я увидел моих беглецов. Должно быть, высадились на берег, покуда я шатался по городу. Мужчина лет пятидесяти, гладко выбритый, нависшие брови, черный плащ и такое лицо, будто он хочет сказать: «А ну-ка, маленькие мальчики, ответьте мне на этот вопрос», — как инспектор воскресной школы. Подле него саквояж, тяжелый, как десять золотых кирпичей; тут же на деревянном стуле сидит шикарная барышня — прямо персик, одетая, как с Пятой авеню. Какая-то старуха, чернокожая, угощает их бобами и кофе. На гвозде висит фонарь — вот и все освещение. Я вошел и стал в дверях. Они посмотрели на меня, и я сказал:

— Мистер Уорфилд, вы арестованы. Надеюсь, что, щадя свою даму, вы не станете сопротивляться и шуметь. Вы знаете, зачем вы мне нужны.

— Кто вы такой? — спрашивает старик.

— О'Дэй, — говорю я. — Сыщик Колумбийского агентства. И вот вам мой добрый совет: возвращайтесь в Нью-Йорк и примите то лекарство, которое вы заслужили. Отдайте людям краденое; может быть, они простят вам вину. Едем сию же минуту. Я замолвлю за вас словечко. Даю вам пять минут на размышление.

Я вынул часы и стал ждать.

Тут вмешалась эта молодая. Высшего полета девица! И по ее платью и по всему остальному было ясно, что Пятая авеню создана для нее.

— Войдите! — сказала она. — Не стойте на пороге. Ваш костюм взбудоражит всю улицу. Объясните подробнее, чего вы хотите?

— Прошло три минуты, — сказал я. — Я объясню вам подробнее, покуда не прошли еще две. Вы признаете, что вы президент «Республики»?

— Да, — сказал он.

— Отлично, — говорю я. — Остальное понятно. Необходимо доставить в Нью-Йорк Дж. Черчилла Уорфилда, президента страхового общества «Республика», а также деньги, принадлежащие

этому обществу и находящиеся в незаконном владении у вышеназванного Дж. Черчилла Уорфилда.

— О-о! — говорит молодая леди в задумчивости. — Вы хотите увезти нас обратно в Нью-Йорк?

— Не вас, а мистера Уорфилда. Вас никто ни в чем не обвиняет. Но, конечно, мисс, никто не мешает вам сопровождать вашего отца.

Тут девица взвизгивает и бросается старику на шею.

— О, отец, отец, — кричит она таким контральным голосом. — Неужели это правда? Неужели ты похитил чужие деньги? Говори, отец.

Вас бы тоже кинуло в дрожь, если бы вы услышали ее музыкальное тремоло.

Старик вначале казался совершенным болваном. Но она шептала ему на ухо, хлопала по плечу; он успокоился, хоть и вспотел.

Она отвела его в сторону, они поговорили минуту, а потом он надевает золотые очки и отдает мне саквояж.

— Господин сыщик, — говорит он. — Я согласен вернуться с вами. Я теперь и сам кончаю видеть (говорил он по-нашему ломанно), что жизнь на этот гадкий и одинокий берег хуже, чем смерть. Я вернусь и отдам себя в руки общества «Республика». Может быть, оно меня простит. Вы привезти с собой грабль?

— Грабли? — говорю я. — А зачем мне...

— Корабль! — поправила барышня. — Не смейтесь. Отец по рождению немец и неправильно говорит по-английски. Как вы прибыли сюда?

Барышня была очень расстроена. Держит платочек у лица и каждую минуту всхлипывает: «Отец, отец!» Потом подходит ко мне и кладет свою лилейную ручку на мой костюм, который, по первому разу, показался ей таким неприятным. Я, конечно, начинаю пахнуть, как двести тысяч фиалок. Говорю вам: она была прелесть! Я сказал ей, что у меня частная яхта.

— Мистер О'Дэй, — говорит она, — увезите нас поскорее из этого ужасного края. Пожалуйста! Сию же минуту. Ну, скажите, что вы согласны.

— Попробую, — говорю я, скрывая от них, что я и сам тороплюсь поскорее спустить их на соленую воду, куда они еще не передумали.

Они были согласны на все, но просили об одном: не вести их к лодке через весь город. Говорили, что они боятся огласки. Не хотели



попасть в газеты. Отказались двинуться с места, покуда я не дал им честного слова, что доставлю их на яхту не говоря ни одному человеку из тамошних.

Матросы, которые привезли меня на берег, были в двух шагах, в кабачке: играли на бильярде. Я сказал, что прикажу им отъехать на полмили в сторону и ждать нас там. Но кто доставит им мое приказание? Не мог же я оставить саквояж с арестованным, а также не мог взять его с собою — боялся, как бы меня не приметили эти мартышки.

Но барышня сказала, что черномазая старуха отнесет моим матросам записку. Я сел и написал эту записку, дал ее черномазой, объяснил, куда и как пойти, она трясет головой и улыбается, как павиан.

Тогда мистер Уорфилд заговорил с нею на каком-то заграничном жаргоне, она кивает головой и говорит «си, сеньор», может быть, тысячу раз и убегает с запиской.

— Старая Августа понимает только по-немецки, — говорит мисс Уорфилд и улыбается мне. — Мы остановились у нее, чтобы спросить, где мы можем найти себе квартиру, и она предложила нам кофе. Она говорит, что воспитывалась в одном немецком семействе в Сан-Доминго.

— Очень может быть, — говорю я — Но можете обыскать меня, и вы не найдете у меня немецких слов; я знаю только четыре: «ферштейнихт» и «нох эйне»<sup>[67]</sup>. Но мне казалось, что «си, сеньор» — это скорее по-французски.

И вот мы трое двинулись по задворкам города, чтобы нас никто не увидел. Мы путались в терновнике и банановых кустах и вообще в тропическом пейзаже. Пригород в этом мартышкином городе — такое же дикое место, как Центральный парк в Нью-Йорке. Мы выбрались на берег за полмили от города. Какой то темно-рыжий дрыхнул под кокосовым деревом, а возле него длинное ружье в десять футов. Мистер Уорфилд поднимает ружье и швыряет в море.

— На берегу часовые, — говорит он. — Бунты и заговоры зреют, как фрукты.

Он указал на спящего, который так и не шевельнулся.

— Вот, — сказал он, — как они выполняют свой долг. Дети!

Я видел, что подходит наша лодка, взял газету и зажег ее спичкой, чтобы показать матросам, где мы. Через полчаса мы были на яхте.

Первым долгом я, мистер Уорфилд и его; дочь взяли саквояж в каюту владельца яхты, открыли его и сделали опись всего содержимого. В саквояже было сто пятьдесят тысяч долларов и, кроме того, куча брильянтов и разных ювелирных вещиц, а также сотня гаванских сигар. Я вернул старику сигары, а насчет всего остального выдал ему расписку как агент сыскного бюро и запер все эти вещи у себя в особом помещении. Никогда я еще не путешествовал с таким удовольствием. Чуть мы выехали в море, дама повеселела и оказалась первоклассной певицей. В первый же день, как мы сели обедать и лакей налил ей в бокал шампанского, — а эта яхта была прямо плавающей «Асторией», — она подмигивает мне и говорит:

— Не стоит нюнить, будем веселее! Дай бог вам скушать ту самую курицу, которая будет копошиться на вашей могиле.

На яхте было пианино, она села и начала играть, и пела лучше, чем в любом платном концерте, — она знала девять опер насквозь; лихая была барышня, самого высокого тона! Не из тех, о которых в великосветской хронике пишут: «и другие» Нет, о таких печатают в первой строке и самыми крупными буквами

Старик тоже, к моему удивлению, поднял повешенный нос. Однажды угощает он меня сигарой и говорит веселым голосом из тучи сигарного дыма:

— Мистер О'Дэй, я почему-то думаю, что общество «Республика» не доставит мне многие хлопоты. Берегите чемодан, мистер О'Дэй, чтобы отдать его тем, кому он принадлежит, когда мы кончим приехать.

Приезжаем мы в Нью-Йорк. Я звоню по телефону к начальнику, чтобы он встретил нас в конторе директора. Берем кэб, едем. На коленях у меня саквояж. Входим. Я с радостью вижу, что начальник созвал тех же денежных тузов, что и прежде. Розовые лица, белые жилеты. Я кладу саквояж на стол и говорю:

— Вот деньги.

— А где же арестованный? — спрашивает начальник.

Я указываю на мистера Уорфилда, он выходит вперед и говорит:

— Разрешите сказать вам слово одно секретно.

Они уходят вместе с начальником в другую комнату и сидят там десять минут. Когда они выходят назад, начальник черен, как тонна угля.

— Был ли у этого господина этот чемодан, когда вы в первый раз увидели его? — спрашивает он у меня.

— Был, — отвечаю я.

Начальник берет чемодан и отдает его арестанту с поклоном и говорит директорам:

— Знает ли кто-нибудь из вас этого джентльмена?

Все сразу закачали своими розовыми головами:

— Нет, не знаем.

— Позвольте мне представить вам, — продолжает начальник, — сеньора Мирафлореса, президента республики Анчурия. Сеньор великодушно согласился простить нам эту вопиющую ошибку, если мы защитим его доброе имя от всяких могущих возникнуть нападков и сплетен. С его стороны это большое одолжение, так как он вполне может потребовать удовлетворения по законам международного права. Я думаю, мы можем с благодарностью обещать ему полную тайну.

Розовые закивали головами.

— О'Дэй, — говорит мне начальник. — Вы не пригодны для частного агентства. На войне, где похищение государственных лиц — самое первое дело, вы были бы незаменимым человеком. Зайдите в контору завтра в одиннадцать.

Я понял, что это значит.

— Так что это обезьянский президент? — говорю я начальнику. — Почему же он не сказал мне этого?

— Так бы вы ему и поверили!

## XVIII. Витаграфоскоп

Программа мюзик-холла по сути своей фрагментарна и раздроблена. Публика не ждет эффектной развязки. Каждый номер достаточно плох сам по себе. Никому нет дела до того, сколько романов было у комической певицы, если она выдерживает свет прожекторов и может вытянуть две-три высоких ноты. Публика и бровью не поведет, если ученых собак бросят в пруд, как только они проскочат через последний обруч. Зрителям все равно, расшибся или нет велосипедист-эксцентрик, когда выкатился головой вперед со сцены при оглушительном звоне разбитой (бутафорской) посуды. Также не считают они, что купленный билет дает им право знать, питает ли виртуозка на банджо какие-нибудь чувства к ирландцу куплетисту.

Поэтому не будем поднимать занавес над живой картиной — соединившиеся любовники на фоне наказанного порока и для контраста — целующиеся комики, горничная и лакей, введенные как подачка церберам с пятидесятицентовых мест.

Наша программа заканчивается несколькими короткими номерами, а потом расходитесь по домам, спектакль окончен. Те, кто высидит до конца, найдут, если захотят, тоненькую нить, связывающую, хоть и очень непрочную, нашу повесть, понять которую может, пожалуй, один только Морж.

Выдержки из письма от первого вице-президента нью-йоркского страхового общества «Республика» Франку Гудвину, в город Коралио, республика Анчурия.

*«Глубокоуважаемый мистер Гудвин!*

*Мы получили ваше сообщение от фирмы Гаулэнд и Фурше из Нового Орлеана, а также чек на 100000 долларов, увезенных из нашей кассы покойным Дж. Черчиллем Уорфилдом, бывшим президентом нашего общества... Служащие и директора единогласно поручили мне выразить вам свое глубокое уважение и принести вам искреннюю благодарность за то, что вы так быстро возвратили нам все утраченные нами деньги, меньше чем через две недели после их*

*исчезновения... Позвольте заверить вас, что все это дело не получит ни малейшей огласки... Искренно сожалеем о самоубийстве мистера Уорфилда, но... Приносим вам горячие поздравления по поводу вашего бракосочетания с мисс Уорфилд... Ее чарующая внешность, привлекательные манеры... благородная женственная душа... завидное положение в лучшем столичном обществе...*

*Сердечно вам преданный Люсайас И. Элгэйт,  
первый вице-президент страхового общества «Республика».*

# **Витаграфоскоп**

## **(Кинематограф)**

## Последняя колбаса

Место действия — мастерская художника. Художник, молодой человек приятной наружности, сидит в печальной позе среди разбросанных этюдов и эскизов, подпирая голову рукою. На сосновом ящике в центре мастерской стоит керосинка. Художник встает, затягивает ту же кушак и зажигает керосинку. Потом подходит к жестяной коробке для хлеба, наполовину скрытой ширмами, достает оттуда колбасу, переворачивает коробку вверх дном, чтобы показать, что она пустая, и кладет колбасу на сковородку, а сковородку ставит на керосинку. Керосинка гаснет; ясно: в ней нет керосина. Художник в отчаянии. Он хватается за колбасу и, пылая внезапно нахлынувшим гневом, бешено швыряет ее в дверь. В эту самую минуту дверь открывается, и колбаса с силою бьет по носу входящего гостя. Видно, что он кричит и прыгает на месте, как будто танцует. Вошедший — краснощекий, бойкий остроглазый человек, вернее всего — ирландец. Вот он уже смеется; потом пинком ноги он сбрасывает на пол керосинку, художник тщетно старается пожать ему, руку, гость со всего размаха ударяет его по спине, после этого делает знаки, по которым всякий мало-мальски смысленный зритель поймет, что он заработал огромные деньги, обменивая в Кордильерах у краснокожих индейцев ножи, топоры и бритвы на золотой песок. Он вытаскивает из кармана пачку денег величиной с изрядную ковригу хлеба и машет ею у себя над головой, в то же время делая жесты, как будто он пьет из стакана. Художник хватается за шляпу, и оба покидают мастерскую.

## Письмена на песке

Место действия — пляж в Ницце. Женщина, красивая, еще молодая, прекрасно одетая, с приятной улыбкой, степенная, склонилась над водою и от нечего делать выводит концом шелкового зонтика какие-то буквы на прибрежном песке. В ее красивом лице что-то дерзкое; в ее ленивой позе вы чувствуете что-то хищное; вам кажется, что вот сейчас эта женщина прыгнет, или скользнет, или поползет, как пантера, которая по непонятной причине притаилась и замерла. Она лениво чертит по песку одно только слово: «Изабелла». В нескольких шагах от нее сидит мужчина. Вы видите, что хотя они уже не связаны дружбой, они все еще неразлучные спутники. Лицо у него темное, бритое, почти непроницаемое, но не совсем. Разговор у них клеится вяло. Мужчина тоже чертит на песке концом своей трости. И слово, которое он пишет, — «Анчурия». А потом он глядит туда, где Средиземное море сливается с небом, и в глазах у него смертная тоска.



# Пустыня и ты

Место действия — окраина богатого имения, где-то в тропиках. Старый индеец-лицо точно из красного дерева — ухаживает за травкой, растущей на могиле у болота. Потом встает и уходит в рощу, где уже сгустились короткие сумерки. На опушке рощи стоят рослый, хорошо сложенный мужчина с добрым, очень почтительным видом и женщина, безмятежно спокойная, с ясным лицом. Когда старый индеец подходит к ним, мужчина дает ему деньги. Хранитель могилы с той наивной гордостью, которая в крови у индейцев, получает свой заработок и удаляется. Мужчина и женщина стоят у опушки, потом поворачиваются и уходят по темнеющей тропинке рядом, рядом, так близко друг к другу, потому что в конце концов разве есть во всем мире что-нибудь лучше, чем маленький круг на экране кино и в нем двое, идущие рядом?

*Занавес*



# 1

*Момус* — шут богов, бог насмешки.  
[FbAutId\\_1](#)

*Мельпомена* — муза трагедии.

[FbAutId 2](#)

## 3

*Франсиско Писарро* (1475—1517) — испанец, завоеватель Перу; *Бальбоа* (1475—1571) — испанец, один из первых исследователей, добравшихся до Тихого океана; *сэр Фрэнсис Дрэйк* (1540—1596) — англичанин, мореплаватель и колонизатор; *Боливар* (1783—1830) — виднейший борец за независимость испанских колоний в Центральной и Южной Америке.

[FbAutId 3](#)

## 4

*Дж. Морган* (1635—1688)-английский пират и завоеватель; *Лафит* (1780—1825) — французский корсар и путешественник.

[FbAutId 4](#)

# 5

*Трилистник* — национальное растение Ирландии, ее эмблема и герб.

[FbAutId 5](#)

# 6

Разыщите сенъора Гудвина! Для него получена телеграмма!  
(испан.)

[FbAutId\\_6](#)



7

Туфли (испан.)  
[FbAutId 7](#)

# 8

«Марианна на Юге» — стихотворение Теннисона.  
[FbAutId 8](#)

9

Младенцев (*испан.*)  
[FbAutId\\_9](#)

# 10

*Лотос* — символ забвения всех печалей.

[FbAutId\\_10](#)

# 11

*Авалон* — блаженная страна, куда, по кельтской мифологии, отправляются души убитых героев.

[FbAutId 11](#)

# 12

Постепенно затихающий звук (*итал.*)

[FbAutId\\_12](#)

Ласточка (*испан.*)  
[FbAutId\\_13](#)

14

Отлично (*испан.*)

[FbAutId\\_14](#)



15

Да, сеньор (*испан.*)

[FbAutId\\_15](#)

16

Послеобеденный сон (*испан.*)

[FbAutId\\_16](#)

Кто идет? *(испан.)*

[FbAutId\\_17](#)

# 18

В США принято перед магазинами табачных изделий ставить деревянные изображения индейцев.

[FbAutId 18](#)

# 19

Вся Галлия делится на три части (*лат.*)

[FbAutId\\_19](#)

20

Вечеринка (франц.)  
[FbAutId\\_20](#)

Проклятие! (*испан.*)  
[FbAutId\\_21](#)

Клянусь богом! (*испан.*)  
[FbAutId 22](#)



Спасибо (*испан.*)  
[FbAutId 23](#)

Правду говоря (*испан.*)  
[FbAutId\\_24](#)

25

Номер девятый и номер десятый (*испан.*)  
[FbAutId\\_25](#)

Бедный президент (*испан.*)  
[FbAutId\\_26](#)

Тюрьма (*испан.*)  
[FbAutId\\_27](#)

Внутренний дворик (*испан.*)  
[FbAutId\\_28](#)

Лихорадка (*испан.*)  
[FbAutId\\_29](#)

**30**

Ищите женщину (франц.)  
[FbAutId\\_30](#)



**31**

Разумеется (*испан.*)

[FbAutId 31](#)

32

Мальчик, подай коньяку (*испан.*)  
[FbAutId\\_32](#)

Спокойной ночи (*испан.*)  
[FbAutId 33](#)

Сухое (шампанское) (англ.)  
[FbAutId\\_34](#)

Боже милостивый! (*испан.*)  
[FbAutId\\_35](#)

Подождите! (*испан.*)  
[FbAutId\\_36](#)

Господа, живо! (*испан.*)  
[FbAutId\\_37](#)

Клянусь богом (*испан.*)  
[FbAutId\\_38](#)



В романе миссис Шелли «Франкенштейн» (1818) чудовище, которое некий студент создал из трупов и наделил жизнью при помощи гальванической силы, убивает своего создателя.

[FbAutId 39](#)

40

Хорошо! (*испан.*)

[FbAutId\\_40](#)

41

Житель (*испан.*)  
[FbAutId\\_41](#)

42

Дурак (*испан.*)  
[FbAutId 42](#)

43

Соединенных Штатов (*испан.*)

[FbAutId\\_43](#)

44

Смотрите *(испан.)*  
[FbAutId 44](#)

45

Конечно, нет! (*испан.*)

[FbAutId\\_45](#)

## 46

«Мэйн» — американский крейсер, в 1898 г взорвавшийся по неизвестным причинам на рейде Гаваны (Куба), что послужило поводом для испано-американской войны.

[FbAutId 46](#)



*Кассава* — южноамериканское тропическое растение, корни которого богаты крахмалом.

[FbAutId 47](#)

См. предисловие переводчика.

[FbAutId\\_48](#)

49

Танцевальная вечеринка (*испан.*)

[FbAutId\\_49](#)

# 50

*Панч и Джуди* — популярные герои английского национального кукольного театра, Панч во многом сходен с Петрушкой.

[FbAutId 50](#)

Блаженное безделье (*итал.*)

[FbAutId\\_51](#)

Что случилось? (*испан.*)  
[FbAutId\\_52](#)

Какие колючие дьяволы! (*испан.*)

[FbAutId\\_53](#)

54

То есть больше ста килограммов.

[FbAutId\\_54](#)



# 55

*Дядя Сэм* — символ Соединенных Штатов. Его принято изображать в виде сухопарого верзилы с длинной бородкой, в жилете, усеянном звездами (национальный флаг).

[FbAutId 55](#)

# 56

*Кони-Айленд* — остров близ Нью Йорка, где сосредоточены балаганы, качели, американские горы и пр.

[FbAutId 56](#)

*Чонси Делью* (1834—1928) — известный американский адвокат и оратор.

[FbAutId 57](#)

58

Долой изменника! Смерть изменнику! (*испан.*)

[FbAutId\\_58](#)

Белое вино (*испан.*)

[FbAutId\\_59](#)

**60**

Уполномоченный по мостам и дорогам (*испан.*)

[FbAutId\\_60](#)

Канатные плясуны (*испан.*)  
[FbAutId\\_61](#)

Рыжий черт (*испан.*)  
[FbAutId\\_62](#)



**63**

Девочка (*испан.*)  
[FbAutId\\_63](#)

Плутовка (*испан.*)  
[FbAutId\\_64](#)

# 65

Президент, пришедший к власти вследствие непосредственного изъяснения воли народа.

[FbAutId 65](#)

**66**

Ироническое название Соединенных Штатов.  
[FbAutId\\_66](#)

**67**

«Не понимаю» и «еще одну» (рюмку).

[FbAutId\\_67](#)

## **FB2 document info**

Document ID: 53b47ab5-2139-4740-89b1-b1f16f5be906

Document version: 1.01

Document creation date: 2006-08-03

Created using: FB Tools software

### **Document authors :**

- Vitmaier

### **Source URLs :**

- <http://www.lib.ru>

### **Document history:**

v 1.0 — создание fb2 Vitmaier

# About

This book was generated by Lord KiRon's FB2EPUB converter version 1.0.28.0.

Эта книга создана при помощи конвертера FB2EPUB версии 1.0.28.0 написанного Lord KiRon